



ФАИНА БААЗОВА • ПРОКАЖЕННЫЕ



ФАИНА БААЗОВА  
**ПРОКАЖЕННЫЕ**

76

עבריה וצבי עופר  
קבוץ יפעת

Фаина БААЗОВА  
ПРОКАЖЕННЫЕ



*Фаина БААЗОВА*

**Фаина Баазова**

# **ПРОКАЖЕННЫЕ**

Послесловие  
проф. Михаэль ЗАНД



**БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ**  
1980  
Printed in Israel

פניה באאזוב  
המצורעים

Faina Baazova

THE LEPERS

עיריית חיפה  
מערבת...  
מרכז תרבות...  
מס' קלעט...  
מס' קלעט...  
מס' קלעט...

352

Редактор Р. Зернова

Художник Л. Ларский

©

ALL RIGHTS RESERVED

כל הזכויות שמורות

לספרית-עליה

ת.ד. 7422, ירושלים

היוצאת לאור בסיוע:

האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים

קרן זכרון למען תרבות יהודית, ניו-יורק

OCR Давид Тигиевский, июль 2021 г., Хайфа



*Раввин Давид Баазов (1883 – 1947)*



*Герцель Баазов (1904 – 1938)*

Новый, 1938 год, Тбилиси встречал необычайно теплой, солнечной и бесснежной погодой. В городе царило особое, торжественное настроение. Создавалось впечатление, что люди соревнуются между собой в проявлении радости и хорошего самочувствия. Каждый старался сделать свои новогодние хлопоты очевидными для друзей, знакомых, соседей и особенно для сослуживцев, всем своим поведением подчеркивая беззаботность и безмятежность.

С утра и до поздней ночи всюду: на улицах, в домах и учреждениях — гремело радио и слышались песни, восхваляющие "вождя народов" и его "верного и испытанного соратника" Берия. Особенно много было песен Мингрельского хора. Поэты опережали друг друга в сочинении стихотворений, возносящих "подобного солнцу вождя" и славящих "саблю, вынутую из ножен", — Берия.

Древние прекрасные грузинские застолья превратились в арену идолопоклонства, где каждое слово, каждая песня служили выражением преклонения и безграничной благодарности "творцу счастливой жизни" — величайшему сыну Грузии.

Но за этим шумным и веселым миром был другой, незримый мир, где к встрече Нового года не готовились, люстры ярко не горели, а убитые горем люди со страхом и трепетом скрывали свою трагедию.

То были тысячи семей лучшей части грузинской интеллигенции — из ее среды в течение 1937 года неожиданно для всех "исчезли" отцы и матери, сыновья и братья. И никто об их судьбе не знал ничего — где они и что их ждет. Человек исчезал из жизни, и даже близкие друзья, зачастую и родственники, старались отмежеваться от него и остерегались упомянуть его имя. Только раз устраивали "поминки" по исчезнувшему, и это происходило обычно по месту работы послед-



него. Вскоре после его ареста, по инициативе партийного руководства, устраивались "стихийные" общие собрания. Члены партии, а часто и верноподанные беспартийные выступали и каялись в том, что не проявили нужную бдительность, не усмотрели и вовремя не разоблачили в своих рядах "врага народа", который "опозорил" славный коллектив. Общее собрание, осудив "единогласно" "врага", который, возможно, десятки лет пользовался уважением и любовью общественности, требовало беспощадной расправы над ним, хотя никто не имел ни малейшего представления о совершенных им "преступлениях". Подобные митинги часто проводились в высших учебных заведениях, в Академии наук, в Союзе писателей, в министерствах и вообще всюду, откуда исчезали люди, одаренные, на свою погибель, умом и талантом.

Вначале, еще в 1936 году, аресты касались исключительно партийных оппозиционеров – "троцкистов", среди которых особенно много оказалось гурийцев – "прирожденных оппозиционеров", как их называли в Грузии.

Затем за короткое время один за другим исчезли известные руководители партии. За ними последовало все правительство: Мамия Орахелашвили, Шалва Элиава, Лаврентий Картвелишвили, Папуна Орджоникидзе (брат Серго), Леван Гогоберидзе и многие другие...

Среди них были и такие, как Шалва Элиава и Буду Мдивани, которые совместно с Серго Орджоникидзе возглавляли 11-ю Красную Армию, положившую в феврале 1921 года конец существованию независимой Грузии, и первыми поздравили телеграфно Ленина с тем, что "над освобожденной Грузией реет красное знамя". После ареста Буду Мдивани многие ехидно посмеивались над его хвастливой фразой, сказанной накануне советизации Грузии: "Я буду не Буду, если в Тифлисе комиссаром не буду".

Старая грузинская интеллигенция исподтишка и без злорадства наблюдала за междоусобицей среди "братьев-коммунистов".

Разделавшись с ними, "карающий меч Павловича" опустился на головы тех, кто в прошлом состоял в какой-либо политической партии — федералистов, национал-социалистов, социал-демократов и других. Не был пощажён и глубокий старик, тяжело больной Саид Девдариани, который первым ввел Сталина в грузинский марксистский кружок "Месамэ даси" и которого тот долгое время чтил и уважал как своего первого учителя.

Когда и этот запас был исчерпан, на очереди оказались люди, получившие образование или побывавшие в Европе. Один голый факт пребывания человека на Западе превращал его в "завербованного агента". По этому признаку исчезли из университета лучшие наши профессора — Сосо Нанейшвили, Серги Джапаридзе, Гиго Рцхиладзе, академик Г. Церетели и многие другие.

Затем началась охота на "вредителей". Таких нашлось очень много как в области культуры, так и во всех отраслях народного хозяйства, тем более что "выявлять" их мог любой подонок и неудачник, которому казалось, что устранение работающего рядом с ним талантливого человека откроет ему путь к карьере.

Вспоминается, как осенью 1937 года выездная сессия Верховного суда Грузии, возглавляемая самим Председателем Верховного суда Исакадзе, рассмотрела в Кахетии (в городе Сигнахи) дело "вредителей". В 1937 году это был единственный публичный судебный процесс по такого рода делам, когда на скамье подсудимых оказалась большая группа бывших партийных и советских работников. По этому делу привлекался также мой университетский товарищ, очень талантливый и образованный молодой адвокат — Шура Кобешавидзе.

В 1936 году он начал работать в Тбилисской Коллегии адвокатов, но вскоре переехал работать в Сигнахи, где в одиночестве проживали его мать и тетка, у которых, кроме него, никого не было на свете. Опублико-

ванная в газетах обвинительная формула гласила, что адвокат Кобешавидзе совершал вредительство путем дачи крестьянам неправильной юридической консультации. По приговору суда он вместе с остальными осужденными был расстрелян.

Казенными защитниками на этом процессе была назначена группа молодых, появившихся на арене в начале 30-х годов талантливых адвокатов, среди которых были мои приятели и сверстники. Старые, дореволюционные блестящие юристы и одновременно политические и общественные деятели, такие, как Петр Кавтарадзе (брат ближайшего соратника Ленина Сергея Кавтарадзе), Исай Долуханов, члены Государственного Учредительного собрания Осико Мачавариани и Осико Бараташвили, "лев адвокатуры" Михаил Гвамичава и многие другие были уже "ликвидированы". После процесса наши товарищи вернулись необычайно растерянные и напуганные. Под большим секретом они сообщили, что для гибели нашего друга и коллеги оказалось достаточным доноса одного местного невежественного и завистливого адвоката по поводу вредительства в форме неверной юридической консультации.

Через несколько месяцев вся эта группа адвокатов исчезла бесследно, так же как и Председатель Верховного суда Грузии Исакадзе.

Нужно сказать, что при всем том грузинские евреи продолжали жить достаточно спокойно и беззаботно. Среди них не было ни князей, ни старых большевиков, ни видных меньшевиков или троцкистов, не было также и крупных партийных или государственных деятелей. Семья и родственники бывшего министра финансов грузинского меньшевистского правительства — еврея Иосифа Элигулашвили — давно бежали в Париж вместе с грузинской эмиграцией. Правда, среди грузинских евреев было много хороших врачей, инженеров, учителей, служащих, но они находились вне орбиты грузинской общественной жизни и не так

бросались в глаза. Наряду с еврейскими праздниками, которые они всегда и при любых обстоятельствах отмечали торжественно и в неизменно установленных с древних времен формах, они любили встречать Новый год, и сейчас, предвкушая веселье, готовились к новогодней ночи.

Второго января отец уезжал по делам службы в командировку в Москву на две недели. Провожать его на вокзал поехали мы с Герцелем.

Скорый поезд Тбилиси — Москва уходил днем. Как обычно, провожающих было очень много. Некоторые пришли на вокзал прямо от новогоднего стола — с бутылкой "Грузинского шампанского" в руках — и шумно обменивались новогодними пожеланиями. Мы с Герцелем с трудом вырвали отца из объятий знакомых и усадили в купе международного вагона.

Прощаясь, Герцель снова стал умолять отца быть осторожным в дороге, а в Москве воздержаться от встречи "кое с кем". Отец улыбнулся в усы своей неповторимо мягкой, чуть лукавой и многозначительной улыбкой и еще раз крепко обнял нас.

Легко сказать — будь осторожен! Это было равносильно тому, чтобы сказать отцу — "не дыши!" Мы великолепно знали, что он, бывая в разных городах России, а в особенности в Москве, продолжал поддерживать контакты и встречался с уцелевшими после разгрома Московского "центра" и арестов Кугелем, Каминским и другими сионистами.

И хотя уже был получен сигнал из Москвы о провокаторской роли Саши Гордона, отец по-прежнему бывал в домах, где тот появлялся. Встречаться с товарищами и получать литературу "оттуда", следить и знать, что происходит "там", — было сейчас его "дыханием", никто и ничто на свете не могло его заставить не делать того, что еще возможно было делать.

Когда поезд отошел и последний вагон скрылся из виду, Герцель вздохнул с облегчением и, повернувшись ко мне, сказал:

— Ты представить себе не можешь, как я рад, когда папа уезжает из города. Вот и сейчас... Эти две недели я могу спать и работать спокойно. Я часто думаю — если бы можно было упрятать его подальше от Грузии...

— Но куда и на сколько времени? И кто может знать, сколько "это" продлится и где безопаснее? — спросила я.

— Да, понимаю, что это невозможно. Но когда он в городе и ходит по тбилисским улицам — у меня беспокойно на душе, и я очень боюсь за него. Будем надеяться, что новый год рассеет все наши тревоги...

Тревога... Тревога... Глядя на этих веселых, шумных людей на перроне, трудно было поверить, что почти каждый из них испытывал ее, несмотря на внешнюю беззаботность и веселое настроение.

Тревожился и Герцель. Но беспокойство его касалось исключительно отца. О себе он совершенно не волновался.

Ему недавно исполнилось 33 года. А звезда его горела уже ярко. Он начал печататься рано. Еще в 20-х годах в грузинских литературных журналах и газетах и отдельными изданиями выходили его произведения. Ему принадлежали повести, романы, пьесы, критико-публицистические статьи по вопросам литературы и искусства. Среди них большой известностью пользовались роман "Петхайн", переведенный в 1936 году на русский язык и изданный в Москве под редакцией Виктора Гольцева, а также повести "Конец Гелатской улицы", "Последнее слово Шемария", пьесы "Хагаи", "Феликс Рихтер", "На развалинах Ахасаули", "У Черного моря" и многие другие.

Особенную популярность среди грузинских зрителей создали ему пьесы "Немые заговорили" и "Ицка Рижинашвили", в постановке театров имени Марджанишвили и кутаисского имени Ладос Месхишвили. Режиссер Додо Антадзе теперь ставил их в Армянской ССР. В Театре юного зрителя шла его пьеса "Крапива", а в театре имени Марджанишвили полным ходом готовилась постановка спектакля "У Черного моря".

Во всех ведущих газетах и журналах публиковались хвалебные рецензии на его произведения.

Часто на проспекте Руставели можно было слышать, как молодые грузины расппевают куплеты из сцены "слихот" в спектакле "Ицка".

Он был любим одновременно и еврейской, и грузинской общественностью.

Он был одним из основателей и первым председателем драмсекции Союза писателей Грузии.

Он часто возглавлял делегации писателей в Москву, в Союз писателей СССР.

Еврейские театры Москвы и Витебска готовились к постановкам его пьес.

В глазах грузин, он обладал совершеннейшим иммунитетом против свирепствующей "чумы", все больше поражающей и сердце и мозг грузинского народа. Он не был ни меньшевиком, ни троцкистом, ни потомственным князем, ни ответственным работником, никогда не бывал за границей и не мог быть "завербован там".

Первый и единственный писатель из среды грузинских евреев, пришедший в большую грузинскую литературу со своей еврейской темой, болеющий душой за культурное возрождение отсталого грузинского еврейства, — Герцель вызывал восхищение, любовь и уважение.

Уверенность в неуязвимости Герцеля еще больше окрепла после событий, происшедших с группой грузинских писателей после того, как Грузию посетил Андре Жид. Это было осенью 1936 года, когда французский писатель гостил в Советском Союзе.

После блестящего приема в Тбилиси руководители республики пригласили его на один из красивейших курортов Грузии — Кобулети, где была устроена встреча с отдыхающими там известными грузинскими писателями и поэтами. В это время в Кобулети жил и Герцель. Он работал над своей последней пьесой "У Черного моря", и на банкете, устроенном в честь французского писателя, в числе других писателей

находился и он. На этой встрече были такие известные и прославленные мастера слова, как Михаил Джавахишвили, поэт Тициан Табидзе — ближайший друг Бориса Пастернака, любимец подлинных ценителей поэзии не только в Грузии, но и в России, Паоло Яшвили — один из талантливейших поэтов Грузии двадцатого столетия, веселый и жизнерадостный, великодушный охотник, остроумный и искусный тамада.

Вскоре после отъезда Андрэ Жида начали "брать" одного за другим писателей — участников встречи. После ареста Михаила Джавахашвили и Тициана Табидзе, не дожидаясь своей очереди, покончил с собой Паоло Яшвили. Он застрелился из охотничьего ружья в холле дворца Союза писателей в Тбилиси в тот момент, когда в зале "прорабатывали" уже арестованных писателей. У изголовья спящей маленькой дочери он оставил записку: "Если я не сделаю этого сегодня, завтра ты будешь еще несчастнее".

Из числа участников этой трагической встречи уцелел только один Герцель. Друзья, поздравляя его, утверждали, что он в рубашке родился.

Они не знали, что этому счастливцу тревога за отца не давала спать по ночам.

В эти дни в доме у нас царил суеда. Я собиралась выйти замуж за ленинградца А.С.Эпельбаума, и вся семья была охвачена волнением и хлопотами. Все были счастливы и рады этому событию, но моим близким трудно было примириться с мыслью, что я уеду так далеко. Особенно тяжело переживал это отец, который не мог представить себе, что его Фани уйдет из дома. И хотя мы планировали прожить в Ленинграде всего год-два, после чего собирались переехать в Тбилиси, горечь предстоящей разлуки, даже временной, делала свадебные приготовления не особенно веселыми. Да и письма из Ленинграда были полны тревог и беспокойства. Мой жених умолял меня закончить поскорее все дела и выехать. Обычно рассудительный, веселый и жизнерадостный, каким

я его знала в течение вот уже полутора лет, сейчас он с каким-то суеверным страхом утверждал: "Мне кажется, что скоро что-то стряется, и я потеряю тебя". Быть может, в другое время и в других условиях подобное пророчество вызвало бы у меня только улыбку. Но сейчас, в условиях тбилисской действительности и в связи с охватившей нас тревогой за отца, подобные письма настраивали на невеселые раздумья.

Между тем до отъезда в Ленинград мне еще предстояло закончить ряд находящихся в моем производстве уголовных дел, которые после окончания стажировки и после ареста моего патрона — Михаила Гвамичавы — я вела уже самостоятельно.

В то же время я должна была закончить сбор материалов для нашего "Историко-этнографического музея", где я и наш старший товарищ Давид Шаптошвили готовили экспозицию на тему: "культурно-правовое положение евреев Грузии в царское время". Мне приходилось ездить по разным городам Грузии, где в архивах и частных домах можно было найти большой и интересный материал.

В это время в Ленинградском государственном этнографическом музее заведующий еврейским отделом Пульнер готовил к лету 1938 года большую выставку — "Кавказские евреи", и наш музей поручил мне помочь ему в организации экспозиции — "Грузинские евреи". Необходимо было подготовить литературный материал и отобрать экспонаты, чтобы взять их с собой в Ленинград. Все это требовало времени.

В Москве Соломон Михайлович Михозлс готовился ставить пьесу Герцеля "Ицка Рижинашвили". Герцель, по приезде отца, намеревался поехать в Москву, где вместе с Михозлсом и Самуилом Галкиным должен был написать специальный вариант для еврейского театра.

В Москве с женой Доцей жил наш младший брат Меер. Было решено, что Герцель тоже будет дожидаться нашего приезда в Москве, а оттуда мы все вместе поедem в Ленинград.



Пока что Герцель по горло был занят общественными и литературными делами. Ежедневно он присутствовал на репетициях пьесы "У Черного моря" в театре имени Марджанишвили. Он носился с мыслью написать исторический роман периода разрушения Второго Храма и прихода евреев в Грузию. Он много работал, чтобы собрать исторический архивный материал. Он говорил, что третью книгу "Петхайна" он напишет не скоро. Его героям все труднее становится жить, и он решил отправить их в "длительный отпуск". Ближайшие же годы он думал целиком и полностью посвятить работе над историческим романом. Мечтал — первую книгу послать Л.Фейхтвангеру для "переклички".

20 января отец вернулся, а 22-го Герцель уехал в Москву.

Время шло. Наступил март, а мы все еще не сумели собраться.

Мои судебные дела затягивались. По одному делу в Кахетии перед самым началом процесса неожиданно арестовали председательствующего. По другому делу, в Кутаиси, в середине процесса вдруг "исчез" прокурор. Приходилось начинать процессы с начала в новом составе.

Наконец мои дела были закончены, и я оформила уход из Грузинской Коллегии адвокатов.

Поездка была назначена на 12 апреля, о чем мы известили Герцеля и Меера телеграммой.

В начале апреля, перед тем как сдать музею весь собранный мною материал, мы с Давидом Шаптошвили решили просмотреть его еще раз. Мы пришли в музей вечером, когда там никого не было. Я достала из чемодана все собранное мной за полтора года. Это были газеты сионистской организации "Хма збраелиса" ("Голос еврея"), речи меньшевистских лидеров в Учредительном собрании по еврейским вопросам, полемика отца с противниками, статьи

Герцля против ассимиляторов, документы об организации культурно-национального общества "Тарбут", большое количество фотоматериалов и многое другое.

Когда мы взглянули на всю эту грудку материала, мы вдруг испугались: собранные вместе, эти материалы вдруг стали угрожающими. В первую очередь бросалась в глаза фигура отца — страстного и неутомимого борца, разворачивалась картина его широкой общественной деятельности, начиная с 1904 года. "Уличались" во многом Герцель и многие другие товарищи, в том числе и сам Давид Шаптошвили.

В это время в Грузии "еврейское небо" было совершенно чистым. Даже аресты некоторых русских евреев — крупных партийных и государственных работников, например, Абрама Линецкого, ответственного работника НКВД и председателя правления "Грузевкомбеда" (комитет бедноты грузинских евреев), или редактора газеты "Заря Востока" Маркмана и других — нигде и никем не увязывались с "еврейским вопросом". И хотя еврейский характер деятельности еще не представлял улики для обвинения, мы были сильно встревожены. Материал, который мало кто помнил и вообще мало кто знал о его существовании, мог кого-нибудь из числа работников музея, в особенности членов партии, надоумить сделать "некоторые выводы".

Весь вечер обсуждали мы судьбу этих материалов. Давид Шаптошвили тревожился, и преследовавший в последние месяцы безотчетный страх вдруг стал ощутимым. И мы решили — сдать музею только совершенно безобидный материал, в частности, фотодокументы.

Отобрав все, содержащее в себе "криминал", мы растопили в этот очень теплый апрельский вечер голландскую печь и предали крамолу огню.

Больно было видеть, как превращается в пепел то, что с таким трудом собралось в частных домах или добывалось из архивов. Но я успокаивала себя: копии

многих из этих материалов имелись в архивах Герцеля или у нас дома.

Мы договорились не рассказывать об этом ни одной душе на свете. Директор музея — Арон Крихели в принципе знал, что я собираю материал, но мы не отчитывались перед ним, и что конкретно мною собрано, ему не было известно. Он был ревностным собирателем еврейской старины, фанатично любил музей, но в тот момент он для нас прежде всего являлся членом партии. Он не был в прошлом связан с нашими сионистскими кругами, и поэтому мы сочли за благо как в наших, так и в его интересах не посвящать его в эту тайну.

Был уже первый час ночи, когда мы вышли из музея. Над крышей здания стоял густой дым, который медленно развеивался вокруг.

Впоследствии это "аутодафе" стало для меня предметом тяжких и мучительных раздумий...

Неожиданно для всех жена Герцеля Софа заупрямилась и отказалась ехать с нами в Ленинград. Герцель из Москвы умолял уговорить ее. Но никакие просьбы не помогли, она не изменила своего решения. Это неприятно поразило нас. В течение семи лет, с тех пор, как она стала нашей невесткой, мы втроем — с нею и с Герцелем — разъезжали по стране и постоянно всюду бывали вместе. Обычно очень нервная, но всегда веселая, жизнерадостная и оживленная, последнее время она была раздражена и придиричива к Герцелю.

В день нашего отъезда, на вокзале, она выглядела настороженной и угрюмой. Оставив возле вагона многочисленных друзей и близких, приехавших проводить меня, я до самого отхода поезда гуляла с ней вдаль от перрона, пытаясь смягчить ее. Она высказывала недовольство тем, что Герцеля окружает все больше и больше "поклонников и поклонниц". Не нравилось ей, что он в последнее время так "головокружительно идет в гору". Я искренне убеждала ее

в необоснованности и бредовости ее нездоровых подозрений.

Прощаясь со мной, она сказала:

— Я знаю, Герцеля я не удержу. Но запомни — ни одной другой женщине на свете он не достанется.

Наверное, слова эти были сказаны бездумно, в состоянии болезненной горячности. Но меня поразила скрытая в них злоба, и я запомнила на всю жизнь и этот вечер на перроне, и эти слова, которые сбылись так трагически...

В Москву мы прибыли 15 апреля. На Курском вокзале нас встретили Герцель, Меер с женой и близкие друзья. Не останавливаясь в Москве, мы выехали прямо в Ленинград.

Герцель выглядел очень счастливым. Он рассказывал о своих литературных делах в Москве. Всю дорогу отец и братья весело шутили. Мама молча глядела на нас и казалась грустной.

Семья Эпельбаум — мать, Рахиль Абрамовна, давно овдовевшая, очень умная, энергичная и собранная женщина, младшая сестра — Ирина, красивая и образованная девушка (она готовилась поступать в медицинский институт), и старая, худая и косая на оба глаза тетка, вырастившая племянников и преданная им до самозабвения, — жила в большой, просторной квартире в прекрасном доме на улице Герцена, недалеко от гостиницы "Астория". Старший брат — Зиновий, врач, жил с семьей на Севере. Эпельбаумы, как и большинство ленинградских еврейских семей в то время, стояли на пути ассимиляции.

17 апреля отец устроил хупу в присутствии исключительно верующих евреев. Он сам написал "клуббу" и сам прочел.

В этот день отец был особенно взволнован. Сколько еврейских девушек и парней он венчал и благословил в своей жизни и сколько из них были по-настоящему счастливы! А сегодня он венчал свою дочь, для которой от всей души надеялся вымолить счастье

у Всевышнего. Бедный папа! Мог ли он в тот светлый для него день подумать, что ни одна из благословенных им девушек не стала в жизни столь несчастной, как его любимая дочь.

Отец и Герцль устроили бурную и веселую свадьбу. Утонченные, сдержанные и немного холодные ленинградские гости были поражены и восхищены характером застолья. Владея в совершенстве искусством тамады, Герцель в тот вечер превзошел себя. Даже ядовитые замечания Меера приводили всех в восторг. В такой необычной для наших ленинградцев обстановке не удивило их даже появление на свадьбе крупного чекиста из Управления НКВД Ленинградской области — Давида Петровского.

Отдыхая несколько лет назад где-то в Сочи или Кисловодске, отец встретил там этого Петровского, который навсегда стал его "пленником". Такое с отцом случалось часто. Он каким-то неведомым чутьем угадывал в еврее, давно позабывшем о своем происхождении, наличие на дне его души "залежей еврейской породы" и умел их раскапывать так, что человек вдруг до боли остро начинал чувствовать свое еврейство. Из такой породы евреев и был Петровский. Будучи порядочным и честным человеком, он очень трагично воспринимал все происходящее в этот период в Ленинградской области и, не имея возможности вырваться из заколдованного круга, в конце концов был раздавлен и уничтожен этим "происходящим".

Пришел поздравить меня академик Василий Васильевич Струве, с которым со времени "Руставелевских дней" в Тбилиси у нас установились приятельские отношения и который взял шефство над нашим музеем. Высокий, толстый, с белой шевелюрой и серыми, по-детски добрыми глазами, он всегда очаровывал своей мягкостью и приветливостью. Он пришел, неуклюже держа под мышкой коробку любимых им конфет "Мишка на севере" — необычайно больших размеров, что вызвало всеобщее оживление и смех, —

никто не встречал в продаже коробки конфет подобной величины.

— Сделали по особому благу, — с хитрецей шутил он.

Когда был провозглашен тост за еврейский народ, он долго говорил о героизме и мужестве древних евреев и между прочим сказал: "Как жаль, что сегодня этот народ уподобился некой даме, которую, хотя и приняли в высший свет, но о ее прошлом неудобно говорить".

20 апреля Меер с женой уехали в Москву, отец — в Тбилиси, Герцель — в Витебск, а маму мы задержали в Ленинграде до возвращения Герцеля из Витебска в Москву.

Время бежало быстро. Днем мы с мужем показывали маме город, а вечером принимали запоздавших поздравителей.

24-го утром Герцель позвонил из Москвы. Сообщил, что читка пьесы в Витебске прошла блестяще и театр заключил с ним договор. Просил отправить маму, так как уже заказал билеты на 26 апреля.

25-го, в 11 часов вечера, мы с мужем посадили маму в скорый поезд "Красная стрела", который прибывал в Москву в 8 часов утра.

Вернувшись с вокзала домой, я позвонила Герцелю в гостиницу и сообщила ему о выезде мамы, номер вагона и место. Он сказал, что утром Меер зайдет за ним и они вместе встретят маму. Из номера доносился шум и смех.

— Это Михозлс и Зускин спорят! — объяснил Герцель.

Потом я услышала голос Михозлса. Со свойственной ему теплотой он еще раз поздравил меня и сказал, что, закончив работу, они пойдут ужинать в ресторан и там много, много раз будут пить за мое счастье, за "мазалтов".

Трубку снова берет Герцель. По интонации чувствую, что он возбужден. На мой вопрос: "Что случи-

лось?” — он успокаивает меня: ”Ничего, просто тоскую по Натану, ровно три месяца не видел, не дождусь. Сегодня вместе с Меером закупили массу игрушек. Как приеду в Тбилиси, постараюсь сплавить папу к тебе. Это будет лучше всего... задержи его дольше, понимаешь?..”

...Не успела ответить, разговор оборвался. Все старания оказались безуспешными. Прошло больше часа — связаться с Москвой не удалось.

Следующий день, 26 апреля, прошел в каком-то безотчетном, смутном беспокойстве. Где-то далеко подсознательно точил вопрос — почему не звонит Меер?

На рассвете 27 апреля я во сне почувствовала, что в комнате шепчутся. Стараюсь проснуться. До сознания доходят слова: ”Не надо пока говорить, поезжай ты, может, ничего серьезного”. Открываю глаза. Посредине комнаты стоят муж и свекровь. Лица озабоченные. У нее в руках телеграмма. ”Молния” из Тбилиси, от Софы. Читаю: ”Мама попала под трамвай немедленно выезжай Москву”.

Стараюсь сообразить — как могла мама попасть под трамвай?! С вокзала сыновья ее отвезли бы на такси, в крайнем случае, на метро. От Ленинградского вокзала до гостиницы ”Москва” трамваи вообще не ходят. И почему телеграмма из Тбилиси, от Софы? Почему не от отца, Хаима, Герцеля или Меера?

Вдруг где-то внутри резануло подозрение — случилось что-то другое, о чем отец и братья воздержались известить меня.

Кидаюсь к телефону, вызываю Меера. Очень скоро кто-то берет трубку... перед глазами прыгают слова из телеграммы: ”Мама попала...” Я спрашиваю: ”Где Герцель?..” С другого конца провода доносится неузнаваемый, мертвый, далекий, как из могилы, голос Меера: ”Приезжай сюда...”, а затем короткие гудки... Теряю ощущение реальности, действительность кажется прошедшим сном, с которым ушла молодость...

На следующий день утром я стою у дверей квартиры Меера в Оболенском переулке. Звоню дрожащей рукой... Что я узнаю?

Дверь открывает теща Меера. Увидев меня — убегает. Вхожу в комнату. Окаменевшая мама, без всяких следов трамвайной катастрофы, сидит в углу, в глазах застыл ужас. Рядом стоит Меер — мертвенно-бледный, с потухшими глазами. Как они не похожи на тех, какими были в той, уже прошедшей как сон жизни.

Сдавленным голосом Меер рассказывает: 25-го поздно ночью Герцель позвонил ему и сообщил о выезде мамы из Ленинграда. В 7 часов утра 26-го Меер заехал за Герцелем в гостиницу, чтобы вместе ехать на вокзал. Номер оказался наглухо закрытым. На все вопросы работники гостиницы отвечали: "Выбыл в ночь с 25 на 26 апреля". Так зафиксировано в журнале. Большого добиться от этих людей-машин не удалось.

Время истекало. Меер поехал на вокзал, встретил маму и привез ее к себе домой, а сам вернулся в город и начал поиски Герцеля. В первую очередь разыскал Михоэлса, который вместе с Зускиным был у него последним. Михоэлс, узнав о таком странном исчезновении Герцеля, был потрясен. По его словам, после телефонного разговора с Ленинградом они втроем спустились в ресторан. Около двух часов ночи он и Зускин проводили Герцеля до номера и там попрощались с ним. Он убежден, что произошло какое-то недоразумение или несчастный случай.

Меер обошел все больницы города, все отделения милиции, но вот уже два дня прошло, и он не смог установить, каким образом из гостиницы в центре Москвы бесследно исчез Герцель.

Я решила пойти в Союз писателей. Там должны знать или узнать, что произошло с писателем.

Через час мы с Меером сидели в приемной Ставского. Самого его еще не было. Встретили Виктора Гольцева, Валерия Кирпотина, с которым Герцель дружил. Узнав об исчезновении Герцеля, все заволнова-



лись. Потом приехал Ставский. Писатели заходят к нему вместе с нами. Ставский поражен. Начинает звонить в гостиницу, в угрозыск города Москвы — везде одно и то же: никто не допускает мысли об аресте. Успокаивают, убеждают, что очень скоро все разрешится благополучно. Мы легко поддаемся этим убеждениям и продолжаем поиски по всем мыслимым и немислимым местам.

Так прошло еще два дня.

30-го утром мы с Меером решились. Идем на Кузнецкий мост — в справочную НКВД СССР.

У форточки масса народу. Занимаем очередь молча. Никто ни с кем не заговаривает. Медленно подвигаемся к форточке. Колени все больше дрожат, сердце стучит все сильнее. Форточка то и дело открывается и закрывается. Людей перед нами становится все меньше и меньше. Наконец форточка открылась передо мной. Называю фамилию... Спрашиваю, форточка опускается. Проходит несколько минут... а может, вечность... хлопает форточка... Тупая холодная морда произносит оттуда: "Не ищите, он у нас".

Все... оборвалась последняя ниточка надежды. Стараюсь сдвинуться с места. Какая длинная очередь за нами, но она вдруг закачалась и пошла зигзагами... чувствую, как Меер подхватывает меня. Идем к двери.

Выходим и долго молча шагаем по Лубянке. Уже в который раз обошли огромное здание, но не можем произнести вслух, что Герцель там... внизу... в подвале.

На площадях шумно. На здания вешают огромные портреты вождей. Москва готовится к празднику 1 Мая 1938 года.

Вечером я выезжаю в Ленинград. В поезде у всех настроение праздничное. В вагоне много военных.

"Красная стрела" мчится, не останавливаясь на станциях. В северную весеннюю белую ночь в окне,

как на светлом экране, мелькают знакомые пейзажи. Тяжелые как свинец слова "он у нас" сжимают сердце. Мысли путаются. Что произошло с Герцелем? Откуда нанесен удар — из Тбилиси? Но по правилам Грузии брали из дому, в присутствии родных. И почему при таких таинственных обстоятельствах, что администрация гостиницы была не в состоянии объяснить, как пропал он ночью из номера с вещами, рукописями и детскими игрушками? Что будет с отцом? Как перенесет он этот страшный удар, грозящий разрушить весь его крепкий дом?

Вдруг из памяти выплыла прошлогодняя ночь 30 апреля. Ровно год назад, в ту ночь, Герцель, я и Софа выезжали из Москвы в Ленинград. В вагоне среди пассажиров была очень красивая и веселая цыганка, кажется, актриса цыганского театра. Она гадала на картах, и многие пассажиры-мужчины, шутя и развлекаясь, просили ее "отгадать" их будущее. Герцель, как и отец, терпеть не мог карт, никогда в них не играл, и дома у нас их никогда не бывало. Он без всякого интереса посмотрел на красивую гадалку, вошел в купе и раскрыл книгу. Наворожив мужчинам большое счастье, цыганка почему-то вдруг пожелала "отгадать" и мою судьбу, хотя я даже не глядела в ее сторону. Я, как все члены нашей семьи, всегда относилась к такого рода глупостям чуть ли не с отвращением. Но общее веселье, ее обаяние и игривость настроили меня на шутливый лад, и я согласилась.

Проделав один "сеанс", цыганка сказала: "Не вышло", — и смешала карты. Она стала серьезнее, но что-то у нее не получалось, она пробормотала: "Это ошибка", — и начала тасовать карты уже в третий раз.

Серьезность гадалки еще больше развеселила меня, и я принялась смеяться над ее талантом.

Вдруг рассердившись, цыганка бросила мне: "Вот вы издеваетесь, а карты три раза показали вам одно и то же: дороги, дороги долгие и... слезы... слезы".

Все рассмеялись. Никто не отнесся всерьез к мрачным предсказаниям гадалки, но ни она сама, ни пассажиры больше гадать не пожелали.

Вместе с цыганкой из памяти выплыли и последовавшие за той ночью семь майских дней, которые мы провели в Ленинграде. В это время там белые ночи, особенно белые. Когда мы входили в театр — солнце еще сияло, когда выходили — около 12 часов ночи, — было уже светлое утро. Мы с Герцелем, Софой и моим будущим мужем целыми днями заново осматривали и Эрмитаж, и музеи, и картинные галереи, а когда усталые возвращались к себе в гостиницу, Герцель, торопя нас в театр, отпускал мне и Софе всего 20 минут на переодевание. После такой гонки в течение дня мне было трудно ходить в новых модных туфлях, узких, на очень высоких каблуках, и он совершенно серьезно говорил мне: "Надень тапочки — здесь не Они".

В эту апрельскую ночь 1938 года те дни кажутся далеким прошедшим сном, а выплывшая из забвения красивая цыганка навязчиво преследует меня — "дороги... долгие... слезы!.."

В расчете на более длительное пребывание, 3-го мая я снова выехала из Ленинграда в Москву.

Из Тбилиси сообщали, что отец все еще лежит в больнице после тяжелого сердечного приступа.

После того как в Москве официально был подтвержден арест Герцеля, мы сразу же оказались за бортом жизни. Друзья, близкие и знакомые, за небольшим исключением, вдруг нас "забыли". Люди, которые так любили Герцеля и так тесно окружали его, перестали звонить и спрашивать о нем. Да мы и сами хорошо понимали, что нам следует избегать людей, и без крайней необходимости никому не звонили и мало с кем из друзей виделись.

Помню, как был напуган и неприятно поражен Самуил Галкин, когда я ему позвонила по телефону

и спросила о судьбе сделанных им переводов двух вариантов пьесы Герцеля. Всего несколько дней назад он вместе с Герцелем и Михоэлсом окончательно их отредактировал, и они, по моим вполне обоснованным соображениям, должны были находиться у него. Он поспешил ответить, что весь материал остался при Герцеле и, "к сожалению, больше добавить ничего не может". Он сказал это таким холодным и категорическим тоном, что возможность повторного звонка к нему совершенно исключалась.

В первую очередь я решила установить — за кем числится Герцель: за грузинским или союзным НКВД. Поэтому я шла от низших до высших спецпрокуратур. Днями простаивала я в очередях за "справкой" в прокуратурах Москвы, затем РСФСР и, наконец, Союза. Всюду я получала один и тот же ответ — "за нами не числится".

Вечерами, когда Меер возвращался с работы, мы с ним составляли ходатайства на имя Генерального Прокурора, Наркома Внутренних дел Ежова и "отца и учителя". У нас было основание полагать, что "вождь" знал о Герцеле.

Еще в 1935 году Герцель, в процессе работы над "Ицкой Рижинашвили", посетил на даче под Москвой брата первой жены Сталина — Алешу Сванидзе, который был близким другом Ицки, они вместе учились и вместе участвовали в революции 1905 года. Сванидзе принял Герцеля очень тепло, был тронут его стремлением оживить образ его друга и дал ему много ценного материала. Герцель преподнес ему свой роман "Петхайн". Сванидзе сказал Герцелю, что об этой книге ему известно от Иосифа Виссарионовича, который читал ее и советовал также ему прочесть.

Прошло уже две недели, и все оставалось глухим и непроницаемым. Мне пока не удалось установить, "у кого" Герцель.

И вдруг 25 мая из Тбилиси сообщили, что Герцеля

привезли туда, и просили, чтобы я вернулась в Ленинград.

В Ленинград я приехала для того, чтобы привести в порядок кое-какие семейные дела, а затем уехать в Тбилиси.

Утром 5 июня, в Тбилиси, я сошла с московского поезда. Меня никто не встретил. Я никого не известила о своем приезде. Такси в то время в Тбилиси еще не было. Я взяла извозчика и назвала адрес.

Когда я ехала по одной из пустынных улиц, мой взгляд вдруг привлек столб с афишами. Мне бросилась в глаза одна, на которой еще издали можно было прочесть напечатанное крупными буквами — "ИЦКА РИЖИНАШВИЛИ". Странно! Неужели за месяц с лишним афиша не выцвела и не потеряла своего первоначального блеска?! И почему ее не смыли, чтобы наклеить другие, новые? Мне вдруг захотелось подойти и пощупать афишу. Я попросила извозчика повернуть и остановиться. Подхожу близко. Сомнений нет — афиша свежая. Датирована 2-м июня 1938 года. Ясно написано: театр имени Марджанишвили, название пьесы, время начала спектакля, фамилии ведущих актеров... и все. Еще раз осматриваю афишу, замечаю — не указана фамилия автора.

Я потрясена! Что это значит? Герцель... там, внизу, а в театре позавчера шла его пьеса. Подобного прецедента в Грузии не было. Это явление не укладывалось ни в какие рамки нашей действительности.

С глубоким волнением открываю дверь нашей квартиры. Меня не ждали. Отец, увидев меня, вдруг зарыдал. Это потрясло и меня, и всех остальных. Дома никогда и никто не видел отца плачущим. В самые тяжелые минуты он бывал спокойным и собранным.

Правда, в детстве мне приходилось слышать, как отец в Иом-Киппур, вечером перед "Неилой" или в день Девятого ава, рыдал в синагоге. Но то был не папа, а кто-то другой, какой-то дух, закутанный в белый талит, и в его голосе слышался плач народа и пророков с такой силой, что вслед за ним рыдали

не только все находившиеся в синагоге мужчины и женщины (часто и неевреи), но, казалось, ему вторят и каменные стены, и свод высокого здания синагоги, и эхо, которое раздавалось в опоясывающих нас горах.

Домой же снова приходил наш ласковый и мягкий папа.

Отец быстро взял себя в руки. Все остальные: мама, бабушка, маленькая сестра, прибежавший Хаим — казались очень взволнованными. Спрашиваю насчет афиши — что произошло?

Из их рассказов я узнала, что в Тбилиси реакция на арест Герцеля была необычной. Когда председателю правления Союза писателей Кандиду Чарквиани (вскоре он сменил Л. Берия на посту Первого секретаря ЦК компартии Грузии) доложили, что в городе ходят слухи о том, что Герцель арестован в Москве, он ответил, что считает эти слухи провокационными, так как не допускает подобной мысли. Никто не хотел верить. Когда же факт ареста подтвердился, многие стали открыто высказываться, что отныне ни один мужчина не может "спать раздетым".

Потом по городу пошли слухи, что Герцеля освобождают. Это была сенсация. Утверждали, что Герцель будет первой ласточкой, прилетевшей "оттуда".

Слухи подкрепились тем, что Берия, расспрашивая по телефону тогдашнего директора театра имени Марджанишвили Шалву Гамбашидзе о предстоящих гастрольях в Западную Грузию, неожиданно предложил ему восстановить "Ицку Рижинашвили" и включить в гастрольную программу театра. Ошарашенный директор поспешил расклеить афиши по городу.

Всеобщее возбуждение достигло своего апогея в день спектакля — 2 июня. Народ — евреи и грузины — хлынул в театр. Там, неизвестно каким образом, распространился слух, что Герцель должен появиться во время спектакля.

Спектакль прошел блестяще — в зале, до отказа переполненном возбужденной и ожидающей публикой.

Но Герцель в театре не появился. Тем не менее все упорно твердили, что Герцель скоро вернется.

Атмосфера надежды воцарилась и в нашем доме. Отец стал уговаривать меня вернуться через несколько дней в Ленинград и взять с собой сестру, у которой с 10 июня начинались школьные каникулы.

В тот же день я отправилась к Софе. Меня предупредили, что после ареста Герцеля с ней произошла странная метаморфоза. Она стала страшно агрессивной по отношению к нашей семье, и никто ее не мог вразумить.

Но то, что я увидела и услышала в доме Герцеля, потрясло меня. В квартире царил хаос. Маленький, худой и бледный Натан лежал в помятой постели. Казалось, стены сузились и потемнели, и все предметы плачут... Я прошла в спальню к Софе. Она разговаривала по телефону, но увидев меня, бросила трубку. Я подошла и обняла ее. Она начала плакать; слезы душили и меня.

Успокоившись, она заговорила тихо:

— Я ждала твоего приезда. Я знаю, ты не остановишься ни перед чем для спасения Герцеля. Мне нужна твоя поддержка. Я уже отправила заявления Берии и Гоглидзе (НКВД), а теперь мне нужно, чтобы и ты подписала такое же заявление, — и дает мне пачку бумаг, написанных ее рукой, — копии ее заявлений.

Читаю заявления. В них она утверждает, что со времени женитьбы Герцель, поняв под ее влиянием, что отец, будучи отсталым, остался непримиримым врагом советской власти и что вся семья по существу осталась антисоветской, окончательно порвал и прекратил с ней всякое общение. Лишь недавно, в связи с замужеством сестры, формально помирился с семьей. Она, его жена, создала из него советского писателя, который отверг и ненавидел все отцовское национально-сионистское наследие. Софа просила освободить мужа, так как он в состоянии принести государству еще много пользы.

Я отказалась подписать подобное заявление.

Она мгновенно изменилась в лице и с невероятной яростью принялась обрушивать на отца немыслимые обвинения в чудовищных преступлениях.

— Мне наплевать, если расстреляют старика! — кричала она безумным голосом. — Мне нужно спасти Герцеля, и для этого необходимо доказать, что он давно порвал и с сионистом-отцом, и со всей контрреволюционной семьей. Если Герцеля сошлют — ни один Баазов на свободе не останется!

На мой вопрос: кто ей сказал, за что арестовали Герцеля, и почему она уверена, что такое "жертвоприношение" может привести к его освобождению? — она не захотела ответить, смешалась, потом истерически закричала, что все товарищи и друзья Герцеля, как грузины, так и евреи, — предатели и шпионы. Она никому больше на свете, даже своим родителям, не доверяет, и только подлинные друзья, которых она приобрела в этом горе, поддерживают и правильно ориентируют ее во всем.

Я отказывалась верить своим ушам. При Герцеле всегда с нами ласковая и почтительная, сейчас она с такой холодной и беспощадной жестокостью готова была ввергнуть в смертельную опасность отца, который Герцелю был дороже жизни, и всю семью, исходя лишь из нелепого и бредового предположения, что этим она "заслужит" освобождение Герцеля!

Что это — плод расстроенной психики, или она действует под чьим-то сильным влиянием? Невозможно было отделаться от мысли, что кто-то, воспользовавшись ее отчаянием, явился ей в качестве "ангела-хранителя". Но кто и с какой целью внушал ей столь подлые, опасные — в первую очередь для самого Герцеля — и одновременно глупые мысли?

К несчастью, разговаривать с нею на языке логики и разума было невозможно...

Между тем в городе упорно циркулировали слухи о скором освобождении Герцеля. Находились знакомые, которые приходили поздравлять.



Не исключая возможности того, что в атмосфере ненависти и подлости Герцель мог стать случайной жертвой мелкой клеветы со стороны какого-нибудь завистника из среды писателей, я все-таки считала необходимым найти способ написать об аресте Герцеля лично "вождю" (десятки тысяч заявлений на имя Сталина не уходили дальше столов низших чинов в органах).

Я решила обратиться за помощью к Секретарю ГрузЦИКа — моему бывшему учителю.

В школе, в старших классах, историю и обществоведение нам преподавал один из любимейших нами учителей — Васо Эгнаташвили. Очень начитанный и эрудированный, он умел рассказывать живо и увлекательно, выходя часто за рамки школьной программы. По-крестьянски простой, общительный, он относился к нам как старший товарищ. Любил и прекрасно декламировал грузинских поэтов. В те годы всеобщего унижения интеллигенции, он был беднее всех наших учителей. Работал он один, и скромное жалованье школьного учителя едва кормило семью из пяти душ. Зимой он ходил в полотняных брюках и туфлях.

Ко мне он относился с большой теплотой. Иногда по воскресным дням приглашал к себе домой и помогал в составлении литературного журнала, который я выпускала в школе.

Он жил недалеко от нас, на Гановской улице, в двух маленьких, бедно обставленных комнатах. Занятия наши продолжались не долго, его чересчур живые и резвые мальчики переворачивали весь дом, мешая нам работать. Тем не менее, общение с ним всякий раз чем-то обогащало меня, и я вспоминала о наших встречах с благодарностью.

Сразу же после появления Васо в школе поползли слухи — один другому передавал по секрету, что он незаконный брат Сталина. Говорили об этом и в городе. Почему-то эта контрастность положения "братьев" еще больше возвышала его в наших глазах, делала его гордым и романтическим.

Прошли годы. Я окончила университет. Васо Эгнаташвили я больше не встречала. В начале 30-х годов вдруг заговорили о нем. Вскоре он стал секретарем ГрузЦИКа. У него был старший брат — Константин, о котором рассказывали, что он работает в Кремле — не то комендантом, не то в хозчасти.

Когда из комендатуры позвонили и назвали мою фамилию, Васо сразу же распорядился впустить меня. Я вошла в роскошный кабинет, где в кресле одного из руководителей республики теперь сидел когда-то бедный и добрый мой учитель. Каким он стал, изменилось ли его сердце? Внешне он изменился — раздобыл. Одет в великолепный костюм. Стал медлительнее и сдержаннее. Принял он очень приветливо. Расспросил о моей жизни. Потом вдруг спросил.

— Как с Герцелем? Слышал, что его освобождают?

Тогда я изложила ему причину моего прихода и просила связать меня с его братом Константином.

Васо задумался, потом взял бумагу и начал писать. Письмо вложил в конверт и отдельно на бумаге написал телефон Константина.

— Во всяком случае, — сказал он, — заявление ваше передать в руки, думаю, он сможет.

Встал и, как будто извиняясь, сказал:

— Вы понимаете хорошо, что я ничего сделать не могу.

Я понимала! Он хотел сделать хорошее, но не мог. Бедный. То, что он сделал, и это выходило тогда за нормы поведения ответственных лиц.

По настоянию отца, 10 июня мы с сестрой уехали из Тбилиси. Провожая нас, отец и Хаим старались быть бодрыми, убеждали, что мы скоро получим телеграмму об освобождении Герцеля. Но, прощаясь и целуя меня, отец вдруг сказал:

— Что бы ни случилось — держись с достоинством!

Верил ли отец в душе в возможность скорого освобождения Герцеля или делал вид, что верит, лишь бы скорее удалить меня из Тбилиси?

По дороге в Ленинград я остановилась в Москве, где мы с Меером намеревались встретиться с Константином Эгнаташвили.

Я позвонила ему поздно ночью. Он оказался дома. Назначил свидание на утро, у музея Ленина.

Мы с Меером были на месте в назначенное время. Скоро подошел Константин. Я его сразу узнала по описанию Васо. Это был пожилой, но высокий и стройный человек. Он внимательно прочел письмо брата и тут же порвал.

— Дайте ваш пакет. Васо очень просит. Я это сделаю непременно. Думаю, что завтра у меня будет случай. Вы не звоните, дайте ваш номер телефона — я позвоню завтра ночью... с улицы... Ждите моего звонка.

Потом посмотрел на нас, покачал головой и сказал:

— Дети, вы не знаете, какое трудное время!

И ушел по направлению к мавзолею Ленина.

На другой день мы с Меером, затаив дыхание, сидели у телефона. Ночью, в половине второго, раздался звонок, и я услышала три условленных слова на грузинском языке. Они должны были означать, что пакет передан "в руки".

Мы с сестрой уехали в Ленинград, и там началось томительное ожидание известий из Тбилиси.

Прошел июнь, настал июль, а из Тбилиси не было никаких вестей.

Наконец, 10-го, в душный июльский день, пришла телеграмма от неизвестного лица: "Папа, Хаим заболели".

Впереди дороги... дороги и слезы!

Прошло всего два с половиной месяца с тех пор, как я оставила родительский кров, гордая и счастливая сознанием, что я родилась и выросла в этом доме. Здесь царил свой особый мир, в котором еще с колыбели учили высоким идеалам любви и служения своему народу, научили страдать страданиями нашего народа и гордиться его несокрушимой волей и стремлениями к утверждению добра на земле. Необычайная ду-

шевная сила отца породила здесь такую крепкую любовь и душевную близость между членами семьи, что один бывал счастлив счастьем другого и каждый страдал от боли другого.

И вот стоило мне покинуть родительский кров, как за мной погнался злой рок и принялся наносить мне удар за ударом, угрожая разбить мой боготворимый дом, мой мир.

Жизнь выкинула меня за борт. Передо мной лишь узкая, темная тропинка, которая или быстро приведет меня туда же, где сейчас отец и братья, или заставит ходить по мукам неизвестно сколько времени и таскать на себе тяжкую ношу страданий, которая неизвестно где и когда раздавит меня.

В дом семьи Эпельбаум вслед за мной вошли печаль и горе. Всех охватили страх и напряженность. Была ли я вправе взвалить на плечи мужа, несмотря на его горячую готовность служить мне поддержкой и опорой, такое тяжелое бремя, и мог ли он все это вынести, человек, по существу, еще очень далекий от мира нашей семьи? Или, может быть, во имя укрепления и счастья только что созданного семейного очага я должна была отмежеваться от всего святого в моей жизни? А может, честнее и правильнее — сегодня же, сейчас же — перерезать все нити личного счастья и пойти одной навстречу буре?

Выбора не было. Жребий был брошен. Отныне жизнь моя уже не принадлежала мне. Сияние лучезарного счастья моей молодости погасло навсегда.

Телеграмма явно была сигналом, предупреждающим о грозящей мне опасности. Да и по логике вещей следовало, что если арестовали Хаима, то тем больше оснований было для моего ареста.

С самого детства рядом с отцом и, в особенности с Герцелем, находилась на виду больше я, нежели Хаим. Я больше бросалась в глаза, принимая активное участие во всей общественной деятельности семьи. По своему духовному складу необычайно веселый

и жизнерадостный, Хаим очень напоминал отца, он дорожил всем тем, чем жила наша семья, но, женившись совсем молодым, целиком был поглощен заботами о своей молодой семье.

Мой муж и его родные категорически требовали, чтобы я скрылась под Москвой, у родственников жены Меера, которые знали об аресте Герцеля. Д. Петровский (единственный, кто в Ленинграде знал об арестах в нашей семье) также решительно настаивал на том, чтобы я, хотя бы на время, до выяснения ситуации, укрылась подальше от Ленинграда. Муж решил взять отпуск на неделю и отвезти Полину в Тбилиси к маме.

Ко всем доводам благоразумия близких я оставалась глуха и твердо решила съездить сама в Тбилиси, узнать, что происходит дома, в каком состоянии мама. Правда, ехать я решила не прямым поездом, а окольным путем, разными поездами — от города до города.

Муж достал билеты до Харькова, и мы с сестрой в ту же ночь уехали из Ленинграда.

Предупрежденный мужем, рано утром в Москве на вокзале встретил нас Меер. Он ждал на перроне, бледный и окаменевший, ушедший в свои горькие думы. Поезд стоял час, но мы почти ни о чем не говорили. Перед отправлением Меер попрощался со мною, как будто расставался навеки.

Поезда из Москвы в Тбилиси в то время шли не через Сочи, как сейчас, а через Ростов, Баку и прибывали в Тбилиси только на четвертые сутки.

Отказавшись от поездки прямым поездом, мы прибыли в Тбилиси на девятые сутки.

Невозможно забыть это длинное путешествие, сопряженное не только с переживаниями тяжелого горя, безысходной тоски, но и ощущением постоянного страха, страха всяких неожиданностей.

Прибыв на второй день утром в Харьков, мы стояли там в очереди до вечера и с трудом достали билеты в общий вагон на какой-то поезд до Ростова. Курортный сезон был в самом разгаре. Кажется, весь

север двинулся на юг, и чем дальше мы ехали, тем становилось жарче и тем труднее было попасть на какой-либо поезд. Составы шли переполненные экскурсантами, курортниками, на промежуточных станциях люди сутками не могли достать билета.

Так мы ехали из города в город, простаивая в очередях по восемь-десять часов, и, падая с ног от усталости, попадали, наконец, в общие вагоны, где рядом с нами оказывались какие-то вдребезги пьяные типы.

Каждый раз, когда по перрону или вагону проходил работник в форме линейного отдела НКВД, у меня останавливалось сердце, и я вся превращалась в ожидание — вот сейчас он подойдет и снимет нас с сестрой с поезда.

Наконец, на восьмой день утром, мы добрались до Баку, где в течение дня должны были пойти на Тбилиси три поезда, следующие из разных городов. Я сразу кинулась в кассу, там уже с ночи стояла длиннейшая очередь. В 11 часов утра, перед приходом первого поезда, над кассой появилась табличка: "Мест нет".

Было безумно жарко, дул горячий, песчаный бакинский ветер. В зале ожидания можно было задохнуться. Я пристроила вконец измученную, едва стоявшую на ногах от горя и усталости больную сестру на чемоданах на открытом перроне, а сама стояла в толкучке у кассы, изредка выбегая, чтобы взглянуть на сестру.

С самого утра я заметила на перроне одного типа в форме. Он разгуливал по почти безлюдному перрону (от жары и горячего ветра люди старались укрыться в зале ожидания). Раза два, как мне показалось, он внимательно посмотрел на меня, когда я пыталась заставить сестру поесть.

Спустя некоторое время, когда я снова стояла в очереди, стиснутая между пропахшими рыбой и потом азербайджанцами, он вошел в зал, подошел близко к нашей очереди и начал пристально смотреть на меня. Я повернулась к нему спиной, чувствуя, что вся холодею.

Через час-другой, задыхаясь от спертого воздуха в зале, выбегаю на перрон, прислоняюсь к столбу, чтобы хоть немного отойти от духоты. Из здания выходит "тип" и на этот раз направляется прямо ко мне. Колени у меня дрожат, и чтобы не упасть, обхватываю сзади руками столб.

— Скажите, девочка, которая сидит там на чемоданах, ваша сестра? — спрашивает он.

— А вам какое дело до этого? — каким-то чужим голосом выпаливаю резко.

Он пожал плечами и отошел.

К трем часам подошел второй поезд, на который продали всего 20 билетов в общие вагоны. До меня еще человек 50. Остался всего лишь один поезд, следовавший с пограничной тогда станции Шепетовка. Он будет в Баку в пять вечера. Я решила больше не выходить из очереди.

В зале стоит невероятный шум и гам. Вдруг передо мной снова "тип". Он приближается совсем близко ко мне и тихо, но повелительно говорит:

— Слушайте, девушка, выходите из очереди, я возьму вам билеты.

"Ага, думаю, знаю! Подлюга, не хочет привлечь внимание людей. Но зачем издевается, проявляет заботу? Игра? Надо держаться, чтобы он понял, что игра его мне понятна".

— Не нужна мне ваша забота! — почти кричу я.

Он быстро поворачивается и уходит.

До прихода поезда остается менее часа. У меня почти нет сомнений, что этот "тип" следит за мной и заберет. Что делать? Предупредить сестру об этом? Передать ей документы и деньги? Нет, я не в силах сделать это. Лучше подожду до конца, но тогда, быть может, мне не дадут увидеть, что будет с ней.

В очереди за мной стояла группа армянских учеников из Тбилиси, которые возвращались после экскурсии домой. Сопровождал их старший пионервожатый по имени Рафик — типичный и очень приятный тбилисский парень. Он все время старался быть чем-нибудь

полезным нам: доставал холодную воду для сестры, сторожил мою очередь, когда я выходила на перрон. Я отозвала его в сторону и сказала, что чувствую себя плохо и, возможно, останусь здесь у родственников.

— Поэтому я прошу тебя вместе с ребятами взять Полину и привести ее домой в Тбилиси к маме, — с этими словами я передала ему документы и деньги, оставив часть при себе, на всякий случай.

Рафик спрятал их за пазухой, заверил меня, что он лично приведет Полину к маме, и записал наш тбилисский адрес.

Буквально за 15 минут до прибытия поезда ко мне в очереди подошел дежурный по вокзалу, взял за руку и сказал, что меня просит к себе начальник вокзала.

”Все, конец!”

На ходу кричу Рафику:

— Рафик, Рафик, иду звонить родственникам, остаюсь.

— Хорошо, не волнуйся, — слышу сквозь гул.

В кабинете, за большим столом, сидит грузный азербайджанец — начальник станции. В широком кресле сидит ”тип” и курит. Я остановилась у дверей. Вдруг меня охватило странное безразличие, полная апатия.

— Сумасшедшая, — говорит ”тип” начальнику станции. — На ней лица нет, стоит еле на ногах, упрямая.

Начальник станции посмотрел на меня, и, видимо, мой вид убедил его, что перед ним действительно не вполне нормальная.

— Вам до Тбилиси? Вот вам два нижних места в международном вагоне, — говорит очень мягко начальник станции, — деньги можете уплатить здесь.

Снова лихорадочно забились в голове мысли. Значит, ”он” едет с нами, чтобы там, в Тбилиси, передать меня органам, а сестру, которая здесь, в чужом городе, перепуганная, может впасть в истерику (такие сцены выглядят не гуманно, и они избегают их), отправит домой. Ясно.



Уплатив за билеты и не поблагодарив никого, я бегу к Рафику сказать, в каком вагоне ему искать утром Полину. Потом иду к сестре, забираем чемоданы и направляемся в международный вагон. Он наполовину пуст, билеты на него в общей кассе не продаются. Занимаем двухместное купе.

Высовываюсь почти наполовину через открытое, низкое окно вагона. "Тип" в форме разгуливает по перрону. Слежу за ним злыми глазами. До отхода поезда осталось минут 10 — 12. Вот он подходит к нашему вагону, стоит у входа, разговаривает с проводницей. Потом смотрит на меня. Мне кажется, что он, покачивая головой, улыбается. "Палач, иезуит!" Вот уже слышен свист паровоза. Сейчас он вскочит на подножку вагона. Дрогнув состав, поезд медленно двинулся, наш вагон пошел мимо него. Он стоит. Наверное, вскочит на ходу в какой-либо другой вагон, за нами всего несколько вагонов, и мне они хорошо видны. Поезд идет медленно, с трудом... Я не свожу с него глаз, прошел второй, третий, пятый, и вот уже последний хвостовой вагон проехал мимо. ОН ОСТАЛСЯ НА ПЛАТФОРМЕ.

Поезд набирает скорость. Не понимая, что происходит со мною, сестра тащит меня от окна. В голове у меня все перепуталось. "Как! У человека в этой форме могло появиться чувство жалости?" Но, не в состоянии ни в чем разобраться, я обессиленная падаю камнем на мягкую, белоснежную постель международного вагона...

Когда на рассвете мы с сестрой вошли в дом, старая бабушка, как обычно в это время, уже молилась. Мама, видимо, не раздевшись с вечера, сидела у окна в каком-то забытии. Увидев нас, она на мгновение взглянула на меня своими слабыми, покрасневшими от бессоницы глазами и вдруг, схватившись за голову, начала угрожать мне, что выйдет и бросится под трамвай, если я сию же минуту не уеду из Тбилиси.

Я постаралась успокоить ее, заверив, что ночевать дома не буду, днем выходить в город не стану и через

три-четыре дня уеду и буду скрываться под Москвой.

Страх и опасения бедной мамы имели, помимо общей, семейной ситуации, и весьма конкретные основания: по городу распространились слухи о моем аресте в Ленинграде.

Софа, занявшая со дня ареста Герцеля непостижимо странную позицию по отношению к нашей семье, безжалостно убеждала ее, что я непременно буду арестована. Всего два дня тому назад вторично побывали у нее "гости" из органов, они забрали мои фотографии и случайно завалявшиеся два пустых конверта с моим обратным ленинградским адресом.

От мамы я узнала, что отца забрали 8 июля в городе Гори, где он был в то время на незаметной, хозяйственной работе. Об этом маме сообщил 9-го рано утром один еврей, приехавший из Гори. В ту же ночь из дому взяли Хаима.

Помимо отца и Хаима, в Тбилиси из людей, близких к нашей семье, арестовали доктора Рамендика. Это был крупный и очень популярный в городе врач, в прошлом активный сионист — близкий друг и соратник Штрейхера. Он был не только другом, но и лечащим врачом отца.

Были взяты директор 103-й русско-еврейской школы Пайкин — известный математик, доктор Гольдберг — также очень близкий к отцу человек, совсем молодой, скромный и тихий работник нашего музея Г. Чачашвили, Рафаэль Элигулашвили — занимавший в момент ареста пост уполномоченного Внешторга СССР в Закавказье.

Никто не знал, конечно, кто, за что и в связи с чем взят. Между тем в еврейских кругах города Софа с усердием, достойным лучшего применения, распространяла слухи, что во всем виноват "старый провокатор", который сперва погубил собственных сыновей, теперь губит других. На людей одичалых, затравленных страхом, в обстановке всеобщего недоверия

и почти полной потери критериев логики и разума, подобный яд действовал безотказно. Многочисленные друзья и знакомые, которыми всегда был переполнен наш дом, теперь отвернулись от него и избегали даже проходить по Иерусалимскому переулку, где мы жили.

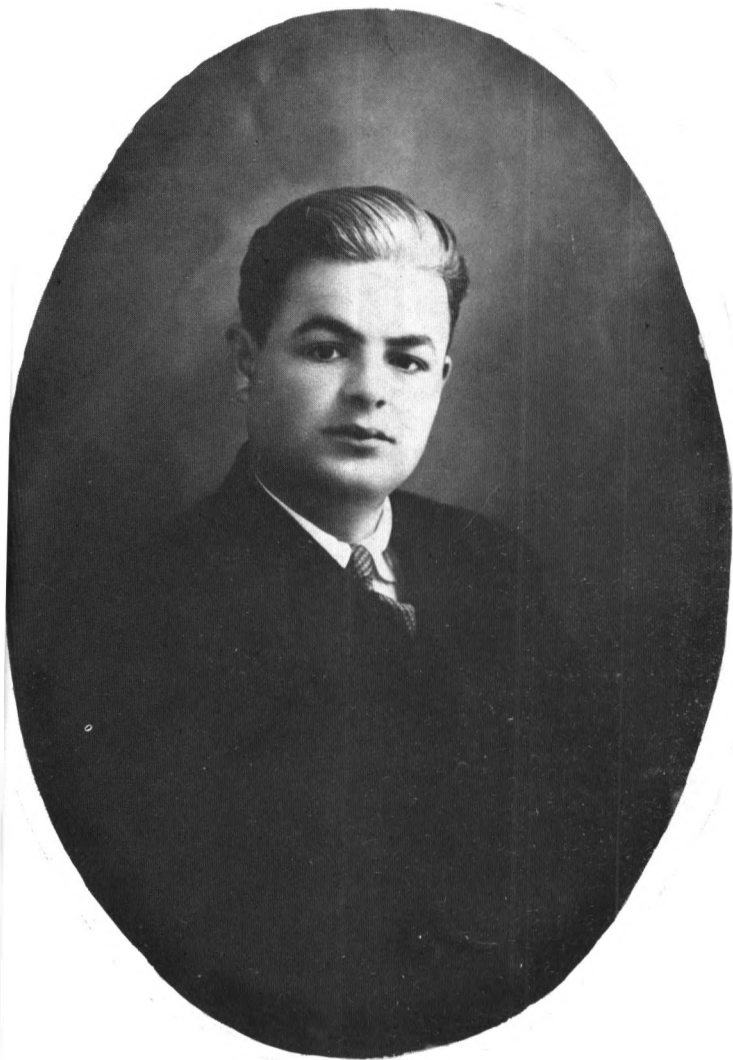
Тбилисские родственники отца — брат, сестры и молодые племянники — люди, в общем, жалкие и в прошлом очень бедные, преследуемые безотчетным страхом, покинули маму в ее невыносимо тяжелом горе. Не ощущение реальной опасности, а какой-то звериный страх овладел ими.

Бедная мама! Мудрая и наивная, гордая и простая, чувствующая себя королевой в своем доме, где она была окружена любовью и уважением, и крепко защищенная от всех жизненных невзгод — отцом и Герцелем, — теперь она оказалась одна перед жестоким миром, где никто не вспомнит о ней, никто не протянет руку помощи и неизвестно, сколько боли и унижения придется ей вынести, тем более, если и я не уцелею.

А чем они будут существовать? Ведь отец, как и дети, не имел никогда никаких богатств. Мы существовали на трудовые заработки, которые хоть и давали возможность прилично жить, но никто из нас не мог на них приобрести какие-либо ценности или отложить на черный день. Да и такая мысль никогда не могла прийти кому-либо из нас — что нужно "иметь" больше денег, чем это необходимо сегодня на жизнь.

Месяц назад у Хаима родилась вторая дочь. Жена его, не имея никакой специальности, была абсолютно неприспособлена к жизни. Правда, утешало то, что у нее было много братьев и сестер. Некоторые из них состоятельные, однако очень скупые. Но, по крайней мере, один — Рома, проживающий в Москве, крупный делец, наиболее добрый и заботливый к родным, очень любивший Хаима и уважающий нашу семью, не оставит сестру с двумя малютками.

А Софа? Слава Богу, ее не взяли, и Натан не остался без матери. Она была беременна, и, быть может, это



*Хаим Баазов (1909 – 1957)*



*Меер Баазов (1913 – 1970)*

спасло ее. Хотя подобные обстоятельства до января 1938 года не были препятствием для ареста жен, которых без всякого следствия отправляли в лагерь сроком на 10 лет. Не отобрали у нее также ни квартиры, ни обстановки, ни даже большой и очень ценной библиотеки Герцеля.

Как правило, в тот период у репрессированных отбирали квартиры, если, конечно, они были хорошими. Обычно их занимали сами следователи органов. Когда в 1937 году арестовали Абрама Линецкого, его роскошную квартиру на улице Крылова с дорогой обстановкой занял следователь Котэ Кадагишвили.

Заслуживший печальную славу спецпрокурор Рубен Баханов — единственный грузинский еврей, удостоенный особого доверия органов, — разгромив очень почитаемую грузинскую интеллигентную семью Т.Грузинской, захватил ее прекрасную квартиру вместе с находившимися там вещами и ценностями. Тамара Грузинская, с которой я позже встретилась в прокуратуре СССР, рассказывая мне о "подвигах" Баханова, почему-то особенно возмущалась тем, что он съел ее чудесные варенья, которые она приготовила для своей семьи.

Кому посмели бы жаловаться лишенные всех гражданских прав родственники репрессированных?! В этих случаях все зависело от настроения и аппетита работников органов, которые тем больше ценились начальством, чем больше жестокости и бессердечия проявляли к "врагам народа". Теперь, как говорили, перестали брать жен без "личного дела". Да и по всему чувствовалось, что лично Софе не угрожает ничто. С работы ее не сняли — она работает врачом в железнодорожной клинике у профессора-невропатолога Петра Сараджишвили. Рядом с ней живут ее родители и сестра. Сама она очень энергичная и обладает необычайно большой пробивной силой.

Самое безнадежное положение у мамы. Все трое: старая бабушка, ей уже 90 лет, мама с больными глазами и часто болеющая, слабая здоровьем сестра-подросток — нетрудоспособны. Я почти уверена,

что из квартиры их не выселят, хотя она большая — три комнаты с большой галереей, но район не из шикарных, да к тому же рядом синагога — кто позарится? (Хотя впоследствии и отобрали одну комнату, но это было в "порядке уплотнения".)

Не думая долго, я решаю продать немедленно не только мои личные вещи — пианино, которое мне купил Герцель, когда я окончила школу, два-три ковра, серебряную посуду и другие предметы, — но и все остальное, что можно сразу же реализовать и без чего сейчас обойдутся мама и сестра. В случае моего ареста у них будет на что жить первое время. А там видно будет!

Я пригласила соседей-евреев, занимающихся, как многие, торговлей, и попросила помочь в распродаже вещей. Пианино и кое-что из обстановки они тотчас купили для себя. Еще бы, чтобы купить пианино, нужно было ждать годами! И кто бы им дал ордер на это? А тут меньше чем за полцены. Все остальное я также реализовала с их помощью в тот же день и таким образом обеспечила маму с сестрой и бабушку на ближайшее будущее.

Когда стемнело, я пошла ночевать в дом Хаима. С рассветом вернулась к маме и целый день занималась тем, что разбирала груды книг, бумаг, фотографий и других предметов, перемешанных со всякой утварью и разбитой посудой. Создавалось впечатление, что квартира подверглась не законному обыску, а, скорее, погрому.

По словам мамы, 9 июля утром, когда ей стало известно об аресте отца в Гори, она, с помощью верного нашего друга старика Я.Л.Зарецкого и двух бывших учеников Герцеля, постаралась вынести из дома часть материалов, документов, книг и фотографий из отцовского архива. В течение дня они вынесли в чемоданах все, что успели и по частям отдали на хранение, на их взгляд, верным, набожным семьям. Увы, впоследствии оказалось, что люди, взявшие на хранение этот бесценный материал, от страха сожгли его.

До отъезда я намеревалась тайком встретиться с двумя из моих ближайших друзей-грузин, в которых я была уверена. Я знала, что, в случае моего ареста, они не испугаются и не оставят маму в одиночестве.

Решив задержаться еще на пару дней, я опять, около 11 вечера, отправилась ночевать в семью Хаима.

Я вышла со двора на улицу через открытые ворота, остановилась, чтобы оглянуться. Ночь была пасмурная, на улице почти полная тьма. Наш дом был угловой, с одной стороны через ворота он выходил на улицу имени Тодрия, а с другой стороны, через подъезд, — в Иерусалимский переулок.

Мне вдруг показалось, или я, скорее, почувствовала, что справа, недалеко от наших ворот, под густым деревом, стоит кто-то. Я инстинктивно повернула обратно, вошла во двор и, затаив дыхание, стала позади полуоткрытых ворот с правой стороны. Вглядываюсь через щель в темную улицу. Не знаю, сколько времени прошло, но мне кажется: стою долго. Стараюсь привести мысли в порядок. Что это? Может, началась галлюцинация? От страха, от всего пережитого, от усталости. Пытаюсь рассуждать: "Чего я испугалась? Ведь так они не прячутся. Они приходят ночью и звонят, стучат в дверь смело и иногда весело".

А может быть, кто-то действительно стоит под деревом и ждет кого-то на свидание, и никакого дела до меня у него нет? Нет, нет... Человек на свидании так не стоит, почти растворившись в темноте. Мелькнула мысль: наверное, "сторожит" наш дом, поставлен следить за теми, кто к нам входит и кто выходит. Да, это в порядке вещей и в нормах нашего положения.

Тогда я решила войти обратно в дом и выйти через подъезд в переулок, подняться по левой стороне вверх, оттуда, обогнув Тумановскую улицу, выйти на Тонедскую площадь, где живет семья Хаима, а там решим, где мне ночевать.



Но что такое с ногами? Не могу оторвать их от земли, как будто кто-то их пригвоздил. Да и глаз не могу отвести от дерева...

Вдруг мне кажется — нет, не кажется, а так и есть, от дерева отделяется фигура, и в какое-то мгновение по улице проносится силуэт человека: проскочив мимо ворот (опять галлюцинация?), он бросает в открытые ворота что-то белое, кажется, бумажку и удаляется вверх, по направлению к площади. Всмотриваюсь в темноту: человек скоро исчез из глаз, не разобрать, молодой или старик, знакомый или нет.

Нагибаюсь и беру бумажку. Это вырванный из небольшого блокнота лист. В углу, у ворот, зажигаю спичку и при ее свете разбираю написанные неизвестным несколько слов по-грузински: "З а в т р а т ы не должна быть в городе".

Кто он? Кто озабочен моей судьбой и, рискуя многим, отважился бросить в минуту грозящей мне опасности спасательный круг? Этого я так и не узнала никогда. Времени для размышлений нет. Надо действовать. Куда пойти ночевать и как уехать до рассвета? Мысленно перебираю все возможности.

Наиболее подходящим вариантом мне кажется снова отправиться к жене Хаима, Сарре. Воспользовавшись темнотой, туда я могу пробраться через переулок незаметно. У Сарры все время находился один из ее братьев, старый холостяк, очень живой, энергичный и шустрый, — Датико. Он, наверное, поможет мне выехать сегодня же ночью.

Не говоря никому о подброшенной мне записке, через несколько минут после моего прихода к Сарре я попросила Датико привести маму и сестру. Когда они пришли, я им объявила, что решила уехать утром и, чтобы их не будить на рассвете, лучше поговорить нам обо всем сейчас. В начале третьего я попрощалась с ними, и Датико проводил их домой. Все прямые поезда на Россию из Тбилиси отбывали днем. Но я должна покинуть город еще до утра. У меня оставался толь-

ко один выход — попасть на армянский поезд Ереван — Москва, который следовал через станцию Тбилиси, куда он прибывал в шесть часов утра. В три часа выходили из депо первые рабочие трамваи.

Мы с Датико воровски вышли из дому и направились к ближайшей остановке. Скоро подошел почти пустой трамвай, и мы поехали на вокзал.

На вокзале все залы ожидания до отказа переполнены пассажирами. Многие спят на ящиках или мешках, набитых фруктами и овощами.

Выбираю место, где особенно много крестьян с мешками, и усаживаюсь на своем маленьком чемодане. Датико пошел выяснить возможность получения билета. Касса была заперта. Дежурный по вокзалу сказал ему, что о получении плацкарты до Москвы, даже в жестком вагоне, и речи быть не может. Тогда Датико решил прибегнуть к своему испытанному методу — договориться непосредственно с кондуктором.

Поезд прибыл без опоздания. Мы выходим на перрон и направляемся к последним плацкартным вагонам.

У каждого вагона толпятся люди, среди них много безбилетников.

Проходя по перрону, Датико выбирает одного кондуктора и делает ему какие-то знаки. Тот, пропустив пассажиров с билетами и отогнав дальше безбилетников, кивнул в нашу сторону.

Кондуктор — армянин, и Датико с ним объясняется по-армянски. Я не понимаю ни слова из их разговора. У меня не хватает терпения, и я обращаюсь к нему по-русски — сколько он хочет. На ломанном русском языке он потребовал с меня за верхнюю полку в своем служебном купе сумму, вдвое превышающую стоимость проезда до Москвы в международном вагоне. По понятиям тех дней, сумма была чудовищной. Он, видимо, профессиональным чутьем угадал, что меня гонит какая-то крайняя необходимость, и, ко-

нечно, не преминул воспользоваться этим. Я говорю "хорошо" и вхожу в вагон.

До отхода поезда Датико еще успел сбегать через длинный перрон в ресторан и принес мне пару бутылок "Боржома".

После отхода поезда кондуктор принес мне постель, но денег за это уже не взял. Я забралась на свою верхнюю полку и, как затравленный зверь, съежилась в уголке.

Неожиданное мое появление в Москве вывело Меера из состояния апатии, в котором я оставила его перед отъездом в Тбилиси. Он так обрадовался мне, как будто в самом деле я вернулась "оттуда". По словам Доци, он не сомневался, что меня оставили "там". Он перестал разговаривать с окружающими, перестал есть и все дни напролет сидел угрюмый, обхватив голову руками. Состояние его было настолько тяжелым, что жена вынуждена была вызвать участкового врача, который дал ему бюллетень на две недели. Теперь он ухватился за меня и не хотел ни на минуту расставаться. Целыми днями мы были вместе (пока поздно вечером я не уезжала ночевать к родственникам Доци на окраину Москвы), как будто я была последней нитью, соединяющей его с жизнью, символом всего того дорогого и святого для него, что сейчас было заточено, обречено на мученичество и нечеловеческие пытки.

Мы вдвоем как будто затерялись в огромном мире, теперь далеко и чуждом нам. Мы одинаково сгибались под тяжестью одного и того же горя. Поэтому в те дни так трудно было нам расстаться, и мы старались поддержать друг друга.

В течение августа муж раза два приезжал из Ленинграда и всячески старался нас утешить и подкрепить. В конце августа, решив, что опасность для меня уже миновала, он настоял на моем возвращении в Ленинград.

И там, обреченная логикой вещей на полную бездеятельность и оставшись наедине со своим горем, я оказалась целиком во власти отчаяния. В Тбилиси меня заставляла держаться жалость к маме и сестре, а в Москве к Мееру. А теперь, зарывшись в подушки, я рыдала часами. Началась бессоница. Ночами сидела я у открытого окна моей комнаты и глядела в уже потемневшие и сырые ленинградские ночи. Возбужденное воображение рисовало мне картины пыток, которым сейчас подвергаются папа, Герцель, Хаим: тушение горящих папирос на теле, подвешивание, избивание до перелома костей, голод, жажда — обо всем этом тайком рассказывали в Тбилиси доверяющие друг другу люди. Хотелось вопить и кричать, чтобы заглушить эту нестерпимую душевную боль. Иногда мне кажется, что мне было бы легче, если бы взяли меня. Там, наверное, тупеешь, перестаешь думать о близких, оборваны все сердечные нити, ты свободен от всяких забот и обязанностей. Такое освобождающее блаженство, очевидно, выкупается собственной обреченностью. А тебе надо выносить страдания за их страдания, постоянно думать, что ты должна что-то делать — действовать, прошибать стены головой и добиваться их спасения, задыхаться от бессилия, — и оставаться обреченной на бездействие из соображений собственной безопасности.

Я почти не выходила из своей комнаты. Ни с кем из друзей и близких мужа не встречалась. На все их вопросы: "Где пропадает твоя жена?" — следовал один и тот же ответ: "Она больна".

Настали "Ямим-нораим"\* . Ни я, ни братья не были религиозными, как и все наше поколение, выросшее в условиях советской действительности. В семье соблюдались все еврейские праздники по всем правилам Торы, но в основе нашего отношения ко всем еврейским обрядам лежала не религиозность, а любовь

---

\* "Грозные дни" — десять дней от Рош ха-Шана (евр. Новый год) до Йом-Киппур (Судный день).

и уважение к родным, уважение к традициям еврейского народа, к его национальному духу, к его стремлению утвердить свою национальную самобытность.

В детстве отец часто брал меня на праздники в синагогу, и в памяти моей навсегда запечатлелись и образ молящегося отца, и вся молитвенная обстановка синагоги.

Став взрослой, я также бывала в синагоге, но не для того, чтобы молиться, а чтобы послушать выступления отца, или в день Иом-Киппур Кол-Нидре какого-нибудь известного кантора в ашкеназийской синагоге (такие часто приезжали в Тбилиси из разных городов России), или в Рош ха-Шана отвести домой маму, которая в эти праздники молилась в ашкеназийской синагоге, а не в сефардской, где бывал отец.

Перед заходом солнца, в канун Иом-Киппур, я зажгла в своей комнате высокие свечи, оделась, вышла на улицу, взяла такси, поехала в синагогу. Но на этот раз меня повело туда не желание послушать хорошего кантора, а непреодолимая потребность окунуться и раствориться в синагогальной атмосфере.

Когда я пришла в синагогу, там уже шла молитва. Я вошла в мужской зал и стала в углу. Места были заняты примерно на две трети. Почти все молящиеся — или старики, или очень пожилые. Молодых не было совсем.

Я стояла и слушала кантора, которого в моем воображении постепенно стал вытеснять образ отца. Мне казалось, что он своим неповторимым волшебным голосом обращает мольбы к Всевышнему. Чувствую, как слезы ручьем текут по моему лицу, и я молюсь, молюсь за него, за всех... И мне кажется, что на душе становится легче.

Некоторые из молящихся с удивлением поглядывают на меня, но никто не посмел спросить, кто я и отчего так горько плачу...

Удивились и в семье моего мужа. Те, кто тогда жил в Ленинграде, легко поймут, что мое поведение

должно было казаться диким подавляющему большинству людей.

Прошел октябрь, потом ноябрь. За это время всего два раза мы получили короткие сообщения из Тбилиси о том, что там без перемен.

В начале декабря мне сообщили, что на все жалобы по поводу судьбы Герцеля мама наконец получила официальный ответ: "Ваш сын осужден на десять лет и сослан без права переписки". Выходило: Герцель осужден отдельно от отца и Хаима, дело которых находится в стадии "следствия".

Это известие сразу вывело меня из состояния апатии, я решила выехать в Москву и добиваться отмены решения органов, хотя бы ценой жизни. Мне казалось невыносимым, что, жертвуя абсолютно всем, я окажусь не в состоянии установить невиновность Герцеля. Я была уверена, что произошла страшная ошибка, и бороться за ее исправление стало единственным смыслом моей жизни.

Знала, конечно, я, сколько друзей, сколько близких и далеких замечательных людей унесла с собою буря, бушующая в Грузии вот уже два года. Тем не менее я не могла мириться с мыслью, что невозможно будет спасти Герцеля, если не бросить на весы собственную жизнь. Тогда она казалась мне огромной ценностью, могущей выкупить невиновность Герцеля. Я еще не понимала, что машина руководствуется не разумом, а безумием, не логикой, а абсурдностью. Мир не казался мне полностью опрокинутым. К этому приходишь постепенно, не сразу.

Я бросила вызов судьбе — или погибнуть, или спасти Герцеля. О, глупая, наивная молодость, о, жалкая, ничтожная человеческая жизнь!

В Москве я оказалась среди людей, которые находились по эту сторону проволочного ограждения, и,

вооруженная лишь безысходным горем и слезами, пыталась достучаться в Ворота Справедливости. Боже! Сколько народу, какие длинные очереди в приемную прокуратуры СССР, Военную прокуратуру, Верховный суд СССР, в Управление ГУЛАГа!

По огромному двору приемной прокуратуры СССР, на Пушкинской улице, 15-а, людская очередь, растянувшись в несколько кругов, выходит из ворот и продолжается вдоль всей Пушкинской улицы, беря начало внизу, у самой площади. А сколько таких, которые где-то прячутся до приближения их очереди, и поэтому все время кажется, что очередь как бы застыла на месте и не движется.

Откуда только не приехали люди, из каких только уголков "необъятной Родины своей"! С Украины, из средней Азии, Закавказья, с юга и дальнего севера. И это людское море только ничтожная часть огромной армии, чесезровцев.\* Ведь многие не в состоянии приехать, а многие боятся рисковать. Сколько их было — таких жен, детей, братьев и сестер, отрекшихся из страха, что исключат из партии, снимут с работы, выгонят из школы или ВУЗов! (Лично я по Грузии и Москве знала очень многих).

Простаивая в этих очередях неделями, месяцами среди людей, которые считались подонками общества (это было самое приличное обращение к нам со стороны тех, кто следил за нашими очередями, регулировал их или по какой-то прихоти вдруг совсем разгонял), и наблюдая за этими измученными, затравленными людьми, разговаривающими на разных языках, но страдающими одинаковым горем, я часто думала, что, наверное, одни только слезы, пролитые матерями "врагов народа", могли образовать поток, способный затопить Москву.

Но эти слезы мельчайшими ручьями тихо лились на огромных пространствах СССР, не причиняя ника-

---

\* Члены семьи изменника Родины.

кого огорчения сердцу "нашего мудрого Отца", и только ослепляли глаза миллионам матерей.

Начав с посещения дежурного прокурора, я медленно, но упорно пробиваюсь дальше — к прокурору отдела, начальнику следственного отдела, оттуда к начальнику судебного отдела, потом к одному из помощников заместителя Вышинского. Всюду я получаю один и тот же ответ: "После проверки установлено, что ваш брат жив, здоров, осужден на десять лет без права переписки и находится в дальних лагерях. Оснований для пересмотра дела нет".

Но все эти ответы подписаны должностными лицами, не правомочными на пересмотр дела. А дальше — попасть непосредственно на прием хотя бы к заместителю Генерального прокурора по спецделам уже невозможно. Декабрь подходит к концу, я застряла где-то на среднем уровне прокурорской иерархии.

Ничего не остается делать, как только снова подавать письменные жалобы. И я, возвращаясь к вечеру из этого опустошающего человека мира, сажусь и пишу жалобы во все мыслимые и немыслимые адреса. Меер молча следит за мной, высказывая иногда свои соображения. Далеко за полночь мы сидим на кухне, чтобы не будить Доцю и ее мать, и все еще стараемся предугадать будущее Герцеля и всей нашей семьи.

Где-то в третьем часу, просыпаясь, Доця начинает сердиться: "Идите спать. Меер, опоздаешь утром на работу". Меер в это время работал инженером-проектировщиком. Работа была трудная и ответственная, связанная с очень сложными расчетами.

В последние дни декабря, накануне Нового года, я выехала в Ленинград.

Обрадовавшись, что я вернулась к жизни, муж просил меня появиться в обществе его друзей, пойти вместе с ним и с его сестрой Ириной на встречу Нового года в ресторан "Астория". Его друзья заблаговременно заказали места и для нас.



Я заставила себя на минуту подумать о муже и о его семье, где вот уже в течение восьми месяцев никто при мне не смеялся, где все подавляло гнетущее молчание, и решила уступить их просьбе.

Я выбрала длинное вечернее платье, которое Герцелю особенно нравилось, одно из тех красивейших платьев, какие шила известная в то время в Тбилиси старая русская еврейка Шмулевич. Имея свой "круг избранных", она создавала на каждой из них модель и никогда никому не шила второго такого же платья.

Одеваясь, я вспомнила, как немногим больше года назад мы с Герцелем и Софой смотрели какой-то новый спектакль в Малом Академическом театре в Москве. На мне тогда было это же платье. Во время антрактов Герцель любил брать меня и Софу под руку и разгуливать по фойе. Он обратил внимание, что многие, особенно женщины, часто поглядывают на нас. И, засемявшись, сказал: "Ага, я думал женщины смотрят на меня, а они, оказывается, рассматривают твое платье".

В те годы в Москве красиво одетая женщина всегда привлекала внимание. Рабочая Москва, даже в театрах, даже в Большом Академическом или Художественном театре, ходила одетой по-рабочему. Часто можно было встретить людей в валенках и телогрейках. В противоположность Москве, в Тбилиси старались одеваться красиво.

От природы женственные и грациозные, грузинки одевались элегантно и с большим вкусом, это всегда отмечали люди, попадающие в Тбилиси из разных городов Союза, и даже иностранцы.

Мы пришли в "Асторию" за 30 минут до наступления Нового года. Ресторан переполнен, много иностранцев. Роскошный зал залит светом. В отличие от московской, публика здесь разодета шикарно. За нашим столом сидит человек пятнадцать, все близкие друзья мужа с женами. Уже знакомый с обычаями на-

шей семьи, муж уговаривает меня руководить столом, быть тамадой — надеется отвлечь меня хоть на время от дум.

Стараюсь пить побольше шампанского, чтобы заставить замолчать, или задушить в себе второе "я", способное вдруг завопить на весь свет. Гляжу со стороны на публику: все веселятся, пьют, смеются, танцуют. Кажется, люди счастливы, беззаботны, и никого не омрачает тот, другой мир. Наверное, со стороны и я выгляжу счастливой. А какое пламя бушует в моей душе! Быть может, здесь много таких, с двумя мирами в душе? Вот вдали, в другом конце зала, сидит группа грузин, видимо, застряли в командировке (без особой нужды грузин не станет встречать Новый год вне дома). Двоих я знаю с виду. У обоих родители репрессированы. Они узнают меня, все встают и оттуда с поднятыми бокалами приветствуют меня. А через несколько минут, согласно их обычаю, присылают нашему столу "дзгвени" — подношение. Два официанта с трудом притащили огромные корзины, красиво оформленные и нагруженные шампанским, грузинским вином, разными фруктами и сладостями, по количеству сидящих за нашим столом лиц.

Веселье и шум все больше нарастают. Все громче и громче кричат: "С Новым годом!", "С новым счастьем!" А мой мозг сверлит один вопрос — что принесет нашей семье новый, 1939 год?

Было совсем светло, когда мы вернулись домой. Из своей комнаты я слышу, как довольная Ирина с радостью рассказывает матери, как веселилась Фани и покорила всех. Я сняла бальное платье и со злобой бросила его на пол, как тряпку, сама превратившись тоже в выжатую тряпку, опустошенная и ненавидящая себя. Я поймала себя на недобром чувстве зависти, когда муж аккуратно и заботливо вешал свой роскошный костюм — подарок моего отца к свадьбе. Он посмотрел на меня и понял, как дорого обходится мне подобное "веселье", и с этого дня больше не пытался развлекать меня.

В начале января по совету Василия Васильевича Струве я решила включиться понемногу в работу. Во-первых, я должна была продолжить работу в этнографическом музее у Пульнера, вместе с которым мы делали по ранее заключенному договору уголок "Грузинские евреи" в еврейском отделе музея, во-вторых, необходимо было работать, чтобы поддержать материально маму, сестру и маленьких племянников, а также арестованных братьев. В то же время работать я могла лишь при том условии, чтобы в любую минуту иметь возможность выехать в Москву или Тбилиси.

Поэтому помимо этнографического музея, где я бывала по утрам, в вечерние часы я пошла работать в Публичную библиотеку имени Салтыкова-Щедрина, где в отделе литературы национальных республик искали работника для научно-технической обработки грузинских книг. Работа была сдельная, оплачивалась хорошо и в то же время я свободно располагала своим временем.

Невозможно забыть необычайно чуткое и теплое отношение, какое проявил Пульнер по отношению ко мне в те дни. Маленький, худой, с большими и лучистыми глазами, он был олицетворением доброты и человечности. Неустанный искатель и собиратель еврейской старины, Пульнер безмерно был влюблен в свое дело. С утра до позднего вечера трудился он в музее, изучая и разбирая экспонаты и делая экспозиции. Великолепной и красочной была его экспозиция "Пурим-шпиль". Сотрудники других национальных отделов музея шутя называли эту экспозицию "Пульнер-шпиль".

Незаметно он постепенно втягивал меня в работу, и в течение каких-то двух месяцев наша экспозиция уже была готова. В последний раз этого замечательного человека и скромного труженика еврейской культуры я видела весной 1940 года. Впоследствии я узнала, что он погиб во время ленинградской блокады.

После работы в музее я отправлялась в Публичку, где зачастую засиживалась до 11 часов вечера. В отделе национальной литературы работал дружный коллектив способных и образованных молодых людей.

Особенно запомнились из раздела армянской литературы Степанов — человек большой культуры и очень эрудированный, из раздела еврейской литературы Ильевич — молодой, худощавый, с черными, горящими глазами и черными курчавыми волосами; говорили, что он татский еврей (он великолепно знал как идиш, так и древнееврейский язык, работал с необыкновенным воодушевлением, писал монографии, исследования).

В огромном книгохранилище грузинские книги валялись неразобранные, без всякой системы. Когда я начала знакомиться с ними, я поразились богатству этой сокровищницы. Издания давно минувших дней, почти столетней давности, фольклорная литература, классика, книги без указания авторов, редкие журналы, о которых там, в Грузии, наше поколение не имело никакого представления. Не встречалась эта литература ни в школе, ни в университете, ни в обычных библиотеках, не говоря о книжных магазинах.

Работа меня увлекла. Неожиданно я получила возможность бывать и в рукописном отделе, где могла параллельно составлять очень важную картотеку по интересующим меня вопросам из истории грузинских евреев (но, увы, и эта картотека, как очень многое в нашем доме, была обречена на гибель). В эти месяцы я работала с девяти утра до одиннадцати вечера. Все мои трудовые заработки моментально превращались в вещевые и продуктовые посылки, которые я систематически отправляла в Тбилиси. В какой-то мере такая занятость и возможность постоянно поддерживать близких в Тбилиси облегчали мое существование в те дни.

В начале марта меня вызвал директор Публички и предложил мне постоянную должность заведующего

отделом грузинской литературы. К его безмерному удивлению, я, не задумываясь, тут же отказалась. Положение в Ленинграде (да не только в Ленинграде) было такое, что любой кандидат филологических наук считал бы за честь подобное предложение. А я, не только не кандидат, но и не филолог, а в библиотечном деле вообще новичок, отказалась наотрез. В этих условиях мой отказ мог заставить кого угодно усомниться в моей умственной полноценности.

Через несколько дней после моего разговора с директором, числа 14 или 13 марта утром, на работу ко мне в музей прибежал муж. Он был очень взволнован. Он принес мне телеграмму из Тбилиси. Оттуда сообщали, что дело отца и Хаима поступило в Верховный суд Грузии и назначено на 23 марта. Вместе с телеграммой муж принес мне также билет в прямой спальный вагон, который в Москве прицеплялся к скорому тбилисскому поезду.

Пульнер и муж воодушевлены. Факт передачи дела отца в суд в свете "коренных переломов", как называли в те дни арест Ежова и перевод Л. П. Берия в Москву, они расценивали как обнадеживающий симптом. Они не сомневались в благоприятном исходе дела отца, что в свою очередь, по их мнению, даст мне больше шансов добиться пересмотра дела Герцеля.

С такими надеждами в тот же день муж проводил меня на поезд, уведомив предварительно по телефону Меера о моем выезде.

16 марта утром в Москве меня встречает Меер. Мой поезд отойдет через несколько часов, и мы предпочитаем остаться вдвоем на вокзале и свободно поговорить, чем ехать на Оболенский переулочек.

В глазах Меера тоже светится луч надежды. Он, конечно, не верит, что с падением "железного комиссара Ежова", который сейчас сам попал в "ежовые рукавицы", произойдет чудо и начнут освобождать невинно осужденных. Мы слишком хорошо знали "почерк" Берия и Сталина, чтобы верить московским сказкам о том, что якобы Ежов, будучи врагом

народа и вредителем, злоупотребил доверием Сталина и погубил много невинных людей. Но тем не менее Меер радовался уже тому, что хоть немного приоткроется черный занавес, можно будет хоть издали увидеть наших близких и они смогут говорить на суде. И это уже нам казалось огромным счастьем, свалившимся на нас с неба. А втайне каждый из нас, конечно, лелеял надежду, что в результате судебного рассмотрения дела их должны освободить.

В таких надеждах 16 марта 1939 года Меер проводил меня в Тбилиси.

Когда 20 марта я сошла с поезда, бушевала непогода, лил ледяной дождь, дул мартовский ветер, обычный для этого времени года в Тбилиси. Приехав домой, я застала у мамы Сарру с детьми, дядю Шломо, тетю Ривку и двоюродного брата. Все с большим волнением ждали моего приезда.

Расспрашиваю, что им известно, и хорошо уясняю себе все пережитое мамой с момента моего бегства — отъезда в июле 38 года. В течение восьми месяцев мама систематически простаивала в кошмарных очередях в приемной НКВД, получая неизменно один и тот же ответ: "Следствие продолжается". Никаких вещевых или продуктовых передач не разрешали. Принимали только по 75 рублей в месяц на каждого арестованного отдельно.

Мама брала за руку Полину, и с вечера до утра следующего дня простаивали они даже не в очередях, а в толпе обезумевших людей. Чекисты нарочно путали очереди, то разгоняя людей в разные стороны с руганью и оскорблениями ("собаки, подонки"), то вновь устанавливая их по своему усмотрению через несколько часов. Как-то всегда получалось, что мама, простояв много часов и приближаясь почти к середине, к утру снова оказывалась в самом конце.

Порядок приема денег менялся чуть ли не каждый месяц. По определенным дням, определенным буквам, по категориям дел, по городам и районам. И за

этим то и дело меняющимся "графиком" следовало следить постоянно, ибо, если мама не попадала точно в свой день, это значило, что до следующего месяца она лишалась права передачи денег и, стало быть, кто-нибудь из троих оставался без этих 75 рублей, на которые они могли купить в тюремном ларьке немного сахара, чая, хлеба, сухого печенья и, возможно, грамм 100-150 масла.

В один прием деньги принимали лишь на одного заключенного. Так что маме и Полине приходилось эти адские круги проходить по три раза в месяц. Но зато какое счастье они испытывали, когда им удавалось из форточки НКВД получить квитанцию в приеме 75 рублей. Тогда, вернувшись физически измотанными и морально опустошенными, они могли немного поесть, и еда в тот день не застревала в горле — сознание того, что сегодня они все-таки что-то сделали, придавало им силы.

Увы! Впоследствии стало известно, что ни одной копейки из этих денег никому из заключенных так и не передали, а вся эта мучительная и издевательская процедура оказалась сплошным обманом.

Бедная мама! Как она изменилась! За несколько месяцев она постарела на десять лет. А сестренка, запуганная, затравленная, замкнувшаяся в себе! А каким несчастным выглядит дядя Шломо. Несмотря на свою преданность и постоянную готовность услужить Софе, он не смог ее задобрить, и она еще долго угрожала ему арестом. До наступления зимних холодов он, оказывается, спал где-то в городском саду на скамейке, боясь ночевать дома. Впрочем, ему было чего опасаться: ведь он втайне обучал нескольких учеников Танаху. Это было для него единственным способом прокормить свою многодетную семью. Он смертельно боялся, как бы об этом не узнала Софа, и, прекратив занятия с учениками, устроился работать швейцаром в оперном театре.

Из еврейских кругов мало кто посещал маму за эти месяцы. И лишь ближайший папин соратник еще по сионистскому подполью старик Я.Л.Зарецкий постоянно бывал у нее и по мере своих возможностей проявлял заботу и внимание.

Зато все чаще стали наведываться в наш дом грузинские друзья. В особенности мои университетские подруги и товарищи, состоящие в коллегии адвокатов. Именно они первыми узнали и сообщили маме о поступлении дела отца и Хаима в Верховный суд Грузии.

Когда стемнело, я поехала домой к адвокату А.Чичинадзе. Туда, кроме Д.Канделаки – будущего защитника Хаима, – узнав о моем приезде, пришли также ближайшие мои друзья адвокаты.

Чичинадзе и Канделаки не допускали и мысли скрыть от меня данные дела, несмотря на строжайший запрет и риск, которому они подвергали себя за "разглашение секретных материалов". Составлять "досье" и брать его с собой адвокат не имел права. Записи, которые он мог делать во время ознакомления с делом, оставались в суде.

Дело было групповое. По нему привлекались: Давид Баазов, д-р Рамендик, бывший директор 103 школы математик Пайкин, д-р Гольдберг, бывший уполномоченный Внешторга СССР по Закавказью Р. Элигулашвили, младший научный работник историко-этнографического музея евреев Грузии – Г.Чачашвили, Хаим Баазов.

Всем было предъявлено обвинение, предусмотренное статьями 58-10-11 Уголовного кодекса Грузии.

Обвинительное заключение, по словам моих друзей-адвокатов, было весьма объемистым. Оно содержало огромное количество эпизодов обвинения, которые сводились к следующим основным пунктам:



Давид Баазов, начиная с 1904 года, был активным сионистом и тесно связан с руководителями мирового сионизма. Он неоднократно участвовал во всемирных сионистских конгрессах и конференциях русских и закавказских сионистов. Еще до революции он создал в Грузии сионистскую организацию, куда завербовал многие классово-неустойчивые элементы из числа грузинских и русских евреев.

В своих публичных выступлениях он проповедовал расистскую теорию еврейской национальной обособленности, отвлекая массы еврейских трудящихся от революционной борьбы.

Он учреждал религиозные школы, где еврейских детей обучали религии, древнееврейскому языку и истории.

После установления советской власти в Грузии он не только не прекратил свою антинародную преступную деятельность, но вместе со своим старшим сыном Г.Баазовым, ныне разоблаченным и осужденным, вел активную националистическую агитацию и публично требовал от советской власти предоставления грузинским евреям "культурной автономии".

В 1925 году ввел в заблуждение правительство, которое ему разрешило поехать в Палестину, якобы для выяснения вопроса получения земель для нуждающихся грузинских евреев:

В Палестине, возобновив свои преступные связи с руководителями мирового сионизма, с их помощью добился получения сотен сертификатов.

Обманув правительство, ему удалось частично реализовать полученные сертификаты, и в том же году он организовал эмиграцию в Палестину десятков семей грузинских евреев.

Но дальнейшая его преступная деятельность в этом направлении была пресечена



*Герцель гимназист*



*Давид Баазов в последний год жизни*

благодаря бдительности органов государственной безопасности.

Продолжая свою подпольную, к/революционную деятельность, вместе со своим сыном Г.Баазовым вступил в преступную связь с представителем сионистской организации в Москве "Арго Джойнт" И.Розиним, которому передавал шпионские сведения.

Был активным членом центрального комитета Московской подпольной антисоветской сионистской организации вплоть до ликвидации этого преступного очага и ареста его членов, врагов народа: Кугеля, Каминского, Бернштейна и других.

Вел среди евреев агитацию против советской власти и вербовал в подпольную антисоветскую организацию молодежь из числа русских и грузинских евреев.

Так он завербовал обвиняемых по данному делу Р.Элигулашвили и Г.Чачашвили.

Рамендик, Гольдберг и Пайкин обвинялись в том, что будучи настроены враждебно к советской власти, вступили в подпольную организацию, возглавляемую Д.Баазовым, и вели антисоветскую пропаганду, направленную против советской национальной политики.

Р. Элигулашвили и Г. Чачашвили — в том, что они были завербованы Д. Баазовым в сионистскую подпольную организацию и занимались антисоветской агитацией, направленной против национальной политики советской власти.

Х. Баазов — в том, что, будучи сыном и братом врагов народа и агентов империалистических стран, еще в начале двадцатых годов вступил в основанную его братом Г.Баазовым подпольную антисоветскую организацию молодых сионистов — "Цейре Цион".

По делу не вызывался ни один свидетель. К делу не были приобщены никакие вещественные доказательства. Не было ни одного документа, хотя бы косвенно в какой-то мере подтверждающего это обвинение.

Тома следственного материала состояли из бесчисленных протоколов допроса обвиняемых, в основном Д.Баазова, который по каждому эпизоду обвинения был допрошен по 10-15 раз. Эти протоколы начинались неизменным предложением рассказать подробно о "своей фашистской и контрреволюционной деятельности". В деле было огромное количество протоколов очных ставок между ним и остальными обвиняемыми. Все эти материалы отражали старание следствия выяснить, когда и где были между ними встречи и в каких выражениях велась между ними "антисоветская беседа" по "еврейскому вопросу".

К делу было приобщено также множество напечатанных на машинке и без подписи "показаний" Герцеля. В них Герцель "изобличал" своего отца в его сионистской деятельности.

Дело подлежало рассмотрению в спецколлегии по уголовным делам Верховного суда Грузии. Председательствующим был назначен член Верховного суда Убилава, который в Верховном суде появился всего несколько месяцев назад. Я его не знала.

За год моего отсутствия в составе Верховного суда, как и в адвокатуре, произошли большие изменения. При мне здесь в основном преобладали люди из плеяды старых революционеров и выдвиженцы из рабочих. Вынося приговоры и решения, они были обязаны руководствоваться "классовыми интересами" и "революционным правосознанием". Разумеется, этот расплывчатый критерий не мог служить гарантией законности. Но среди них были люди порядочные и честные, жизненный опыт и чистая совесть которых нередко отличали их приговоры печатью человеческой справедливости.

Среди них почти не было людей с высшим юридическим образованием. Это произошло не потому, что в Грузии отсутствовали дипломированные юристы. В период организации Верховного суда и народных судов в Грузии была большая армия юристов, получивших образование в Петербурге, Одессе, Париже и Берлине. Но все они были либо беспартийными, либо людьми в прошлом из других политических лагерей. Многие из них до советизации Грузии занимали должности сенаторов, окружных прокуроров или различные высокие посты (Шалва Месхишвили — министр юстиции. Гиоргадзе — военный министр и т.д.) В силу своего социального происхождения или политического прошлого они, естественно, не могли занимать судебские или прокурорские посты. Большинство из них ушло в адвокатуру, некоторые стали преподавателями на юридическом факультете университета, а часть устроилась юрисконсультами в разных учреждениях и организациях.

Выпускники университета советского периода, конца 20-х или начала 30-х годов, тоже в основном вышли из старых интеллигентных семей, были воспитаны старой профессурой, и прежде всего нашим любимым профессором Луарсабом Андронниковым. И конечно, они также были в числе не заслуживающих доверия. Большинство из них ушло в адвокатуру, некоторые в искусство, литературу или театр, а небольшая часть, у которой оказалось "правильное политическое чутье", вступила в партию и начала понемногу просачиваться в судебные и следственные органы.

Именно тогда, из-за недоверия к юридическому факультету университета, при Наркомате юстиции были организованы двухгодичные юридические курсы. Сюда направлялись комсомольцы и члены партии, и преподавателями здесь были в основном уже партийцы, окончившие в Москве Институт красной профессуры. Дипломники этого "храма знаний", начиненные марксизмом-ленинизмом и наспех выучив-

шись практическому применению статей УК\* и УПК, стали основным источником омоложения и "оздоровления" судебно-следственных органов.

После ареста в 37-38 годах многих членов Верховного суда – старых рабочих и революционеров вместе с председателем Верховного суда Вано Болквадзе и его преемником Исакадзе – уцелевших старых членов суда заменили новыми партийными кадрами.

Председательствующий по делу отца и других Убилава был одним из таких "дипломников". Зато выступающий обвинителем прокурор Г. Шецирули был одним из способных и одаренных выпускников университета начала тридцатых годов.

Начиная с 1936 года, уже не все адвокаты, состоящие членами коллегии адвокатов, допускались для участия в спецделах. Президиум коллегии адвокатов получал из спецотдела НКВД список допущенных к политическим делам (этот список постоянно менялся в зависимости от ситуации). В основном он состоял из членов партии, но для приличия туда включали несколько знающих и авторитетных беспартийных адвокатов, имеющих "чистые анкеты" и считающихся лояльными.

Адвокаты А. Чичинадзе и Д. Канделаки и были в числе последних.

Алексей Чичинадзе был выпускником университета конца 20-х годов. Умный, деловой и довольно смелый. Он был родом из Они и очень близок к нашей семье.

Дмитрий Канделаки представлял более старшее поколение. Он считался хорошим практиком и также отличался смелостью.

Из этого же списка были и остальные адвокаты, получившие ордера на защиту других обвиняемых.

Защитник бывшего уполномоченного Внешторга по Закавказью Р. Элигулашвили адвокат Б. И. Амирагов был старым, дореволюционным адвокатом. Он считал-

---

\* УК – имеется в виду уголовный кодекс Груз. ССР.

ся одним из сильнейших защитников в союзном масштабе. Человек одаренный, на редкость образованный, он пользовался большим авторитетом. Как рассказывали пожилые адвокаты, в 1910 году, будучи студентом юридического факультета Московского университета, он произнес речь от имени московского студенчества на похоронах Л.Н.Толстого. Но был он невероятно труслив и даже много лет спустя, уже в "нормальное" время, уверял, что "наше поколение никогда не избавится от страха".

Назначенный судом в качестве "казенного" защитника обвиняемых Пайкина и Гольдберга бывший член Верховного суда и ставший совсем недавно адвокатом старик Робидон Каландадзе представлял собой очень своеобразную и колоритную фигуру.

Член партии с 1902 года, он имел звание Героя социалистического труда и был награжден многими орденами. До советизации Грузии работал проводником на железной дороге. С ранней молодости стал революционером и, как утверждали, имел большие заслуги перед партией в деле организации стачек в железнодорожных мастерских Закавказья. Человек без всякого образования и малокультурный, он в то же время обладал крепким мужицким умом и смекалкой. Одним из первых рабочих-выдвиженцев попал в члены Верховного суда Грузии, и, рьяно руководствуясь при рассмотрении уголовных дел "классовыми интересами и революционным правосознанием", он из бывшего железнодорожного проводника превратился в образцового проводника революционной законности. По природе злой и завистливый, он люто ненавидел интеллигентных адвокатов, особенно с княжескими фамилиями. Р.Каландадзе прославился своей свирепостью и беспощадностью сразу после выхода закона от 7 августа 1932 года, когда он получил возможность широко и щедро применять расстрел против "врагов народа", присвоивших государственное или общественное имущество. В 1934 г. весь город содрогнулся, когда он расстрелял



одного несчастного почтальона Мачарашвили, отца троих малолетних детей, за "недостачу" 3000 рублей. Чтобы иметь представление о "крупном размере" суммы (необходимый признак для квалификации деяния по "закону от 7 августа"), присвоенной Мачарашвили, следует отметить, что тогда на эти деньги в Тбилиси можно было купить два недорогих мужских костюма.

Когда на квартиру к этому почтальону пришел судебный исполнитель для описи подлежащего конфискации имущества, то он нашел там такую жалкую утварь, что пришлось составить акт о несостоятельности семьи осужденного. А когда осужденный Мачарашвили вышел из камеры на расстрел, он попросил тюремщиков вернуть его жене тюфяк, взятый им из дому (тогда еще разрешали арестованным брать с собой постель), так как дети спали на полу.

Дела подобной категории рассматривались для "воспитания масс" на специально организуемых публичных показательных процессах в больших клубах, театрах и прочих общественных местах.

В таких случаях обвинение всегда признавалось полностью доказанным, невзирая на то, что судебным следствием оно часто в корне опровергалось. Таково было "объективное и беспристрастное правосудие" в Тбилиси еще за несколько лет до начала эпохи "нарушения законности." А теперь Р.Каландадзе, этот "оплот правосудия" в прошлом, был направлен в адвокатуру и одним из первых возглавил список допущенных к политическим делам адвокатов.

Если еще до 1937 года старая адвокатура защищала интересы подсудимых и все же часто добивалась успехов, то после ликвидации лучших старых и молодых адвокатов институт защиты по политическим делам, по существу, превратился в фикцию. Партийные адвокаты, как правило, не оспаривали обвинения, даже при отсутствии в деле каких-либо, минимальных доказательств виновности подсудимого и даже при отрицании последним своей вины. Вся деятельность таких адво-

катов обычно сводилась к тому, что, полностью соглашаясь с прокурором и считая обвинение доказанным, они просили суд проявить высокую гуманность и несколько смягчить приговор ввиду "молодости" или "первой судимости" (смотря по обстоятельству дела) подсудимого.

Вообще число политических дел, рассматриваемых в этот период Верховным судом Грузии, должно быть, составляло ничтожный процент из той массы дел, по которым подавляющее большинство было расстреляно или сослано без права переписки решением "тройки". Часть арестованных была осуждена приговорами Военного трибунала Закавказского военного округа. Некоторые, не выдержав пыток, умерли во время следствия или покончили с собой, а особенно непокорные, неподдающиеся и сопротивляющиеся, были застрелены прямо в кабинете следователя.

Лишь недавно, в конце 1938 года, после упразднения "троек" и в особенности после перевода Берия в Москву на место Ежова, в спецколлегию Верховного суда Грузии стало поступать больше политических дел, в основном по статьям 58-10, 58-11 — статьи, всегда очень "популярные", а дела по другим пунктам статьи 58 — об измене, терроре, диверсии и подобных тяжких преступлениях — по-прежнему рассматривались военными трибуналами.

Хотя аресты еще продолжались, но они уже не были массовыми и не носили характера цепной реакции.

Утверждали, что наступил перелом. Все бедствия сваливали, конечно, на врага народа Ежова, проклинали и поносили его. Зато доходили до испуга, восхваляя Берия, назначение которого в МГБ СССР ознаменовалось в Грузии возвращением двух известных академиков.

Случаи эти, с одной стороны, создавали еще более яркий ореол величия и справедливости соратнику Великого вождя и с другой — давали основание официально утверждать, что "разбираются, без вины не осуждают".

Я не знаю — посвящали или нет в свое время русские поэты стихи Ежову или Абакумову, слагали ли в их честь песни композиторы. Но если собрать вместе только песни и стихотворения, созданные в Грузии в честь Берия, наверное, получится весьма объемистый том.

Адвокаты Алексей Чичинадзе и Дмитрий Канделаки были также склонны считать, что наступил конец "всеобщего потопа". Они верили, что циркулирующие по городу слухи о том, что из Москвы якобы поступили секретные директивы освободить людей, — не являются фантазией отчаявшихся людей, а имеют под собой реальные основания. Настроены они были весьма оптимистически и полагали, что, раз отцу и Хаиму посчастливилось и дело их дошло до суда, можно не сомневаться в благоприятном исходе.

Адвокатам было разрешено свидание с их подзащитными 22 марта.

В этот день утром я пошла в Верховный суд навести "официальную справку" о положении дела.

Здание, в котором помещался Верховный суд, представляло собой единственное в своем роде в Тбилиси, весьма замысловатое строение. Оно было сооружено в царское время специально для тифлисского окружного суда — огромный шестизэтажный дом, состоящий из двух корпусов, соединенных между собой внутренними широкими лестницами. Почти на всех этажах — большие и малые залы судебного заседания. В них еще сохранились специально изготовленные, стоящие на возвышении, как на сцене, дубовые столы и высокие стулья для состава суда, специальные скамьи подсудимых и длинные ряды стульев для публики.

В этом здании были сосредоточены все высшие органы правосудия: прокуратура Республики, Народный комиссариат юстиции, Военный трибунал и прокуратура, Президиум коллегии адвокатов и ряд других ведомств юстиции.

Поднимаясь по лестнице, я вижу длинную очередь, которая тянется из приемной "спецотдела" через широкие лестницы и площадку первого этажа выбегает наружу и, закручиваясь несколькими кругами, почти целиком заполняет огромный внутренний двор. Здесь стоят люди, навещающие справки об "исчезнувших" еще в 1937-1938 годах. И теперь так же, как прежде, они все получают один ответ: "Осужден на 10 лет и сослан без права переписки".

На пятом этаже, где помещается Верховный суд и Коллегия адвокатов, мои друзья встречают меня радостно, утешают и убеждают, что, слава Богу, наступила перемена и суд непременно оправдает как отца, так и Хаима. Зато косо смотрят на меня новые адвокаты, бывшие члены Верховного суда или бывшие прокуроры. Хоть и обиженные, выгнанные, но, как члены партии, они должны относиться с презрением к врагам народа.

Некоторые из уцелевших старых работников суда и прокуратуры, боясь поздороваться или заговорить со мною, улыбаются мне глазами. Но таких мало.

В коридоре среди множества людей встречаю родственников подсудимых, проходящих по нашему делу. К моему удивлению, в разговоре со мною они проявляют недоверие и настороженность. Как впоследствии выяснилось, Софа, ссылаясь на "достоверные секретные источники", пыталась убедить их в том, что "старый провокатор" Давид Баазов, чтобы спасти свою шкуру, погубил всех, в том числе и собственных сыновей — за это ему якобы было обещано освобождение.

Уговаривая их объединиться и бороться против старика "единым фронтом", она обещала им свою помощь и взяла на себя организацию защиты.

Казалось бы, члены семей подсудимых слишком хорошо знали отца, чтобы поверить в подобную дьявольскую клевету, да и сам факт ареста Герцеля намного раньше отца делал совершенно бессмысленным утверждение Софы. Но в те дни всеобщего безу-

мия и потери всяких разумных критериев нетрудно было отравить сознание людей и убедить их в самом невероятном.

Вскоре приглашенные ими же адвокаты — Амирагов, Дидебулидзе и другие — объяснили им истинное положение вещей.

С моим появлением в Тбилиси Софа сразу исчезла с нашего горизонта.

Вечером спешу к Алексею Чичинадзе домой. Туда же придет и Дмитрий Канделаки. С замиранием сердца жду — что они скажут? Как выглядит отец? В каком он состоянии? Как держит себя Хаим?

Алексей, как обычно, выглядел спокойным, собранным, но я сразу почувствовала, что за внешним безразличием он умело скрывает внутреннее волнение и напряженность.

Задаю ему десятки вопросов: о допросах, о состоянии здоровья, что сказал, как сказал. Хочу через него воспринять каждый вздох, каждый взгляд, каждую мысль и слово отца.

— Нет, нет, — уверяет Алексей, — страшных пыток к нему не применяли, но он очень подавлен, к тому же нездоров.

Перехватываю взгляд его жены Маро (она из числа близких друзей и душой болеет за нашу семью). Своим взглядом она хочет удержать мужа от чего-то.

Но разве Алексей мог сказать мне, как пытали отца? (Подробно об этом я узнала спустя годы).

А разве сами обвиняемые были вправе говорить кому бы то ни было о перенесенных ими пытках?

Методы следствия считались государственной тайной, рассказы о них могли повлечь за собой новое грозное обвинение — в разглашении государственной тайны.

И все же в Тбилиси, где какими-то неведомыми каналами народ всегда раньше, чем в других городах Союза, включая и Москву, узнавал о происходящем "там", знали о тех изуверских пытках — о переломах

костей, об удушении женщин их собственными косами, о тушении горящих папирос на теле обвиняемого, о сдирании ногтей и подобных зверствах, достигших во второй половине 1938 года своего апогея.

— Хуже всего то, — говорит Алексей, — что мне не удалось убедить Давида в том, что ты на свободе и находишься здесь. Он не захотел обсудить со мною эпизоды обвинения и все время просил только сказать ему правду — где заточена Фани.

Алексей дал мне строгий наказ — завтра, с раннего утра, находиться в Верховном суде, постараться, пока заключенных введут в зал и закроют за ними дверь, быть на виду и сделать так, чтобы отец узнал меня, и даже, если удастся, заговорить с ним.

Зато Дмитрий Канделаки был больше доволен своим подзащитным. По его словам, Хаим выглядит бодрым, собирается дать бой следователю Овеяну. За себя он не беспокоится и просил их с Алексеем перенести центр тяжести защиты на дело отца.

Утро 23 марта 1939 года. В Тбилиси пасмурно и, как часто бывает в это время года, дует холодный ветер.

Еще не было 9 часов, когда я подошла к главному входу, а на улице и во дворе уже толпилось множество людей. Ровно в девять открылись широкие парадные двери, и люди устремились наверх.

На улице среди публики я заметила много евреев, но все они избегали меня. Даже те, что совсем недавно считались близкими друзьями нашей семьи, стараются затеряться в толпе.

На широкой площадке перед большим залом на пятом этаже постепенно собираются родственники подсудимых по нашему делу. Но их очень мало. Пришли самые близкие — жены, братья, родители. Среди них мама с Полиной. С ними пришел только один двоюродный брат. Возле них стоит Сарра с маленькой Лилей, а второго ребенка — 10-месячную Эру — держит на руках.

У всех на лице выражение тревожного ожидания. Все молчат. Боятся разговаривать, чтобы не выгнали, чтобы не лишиться возможности увидеть после долгих восьми месяцев своих близких, которые придут из того таинственного и жуткого мира. Это кажется чудом.

В адвокатской комнате собираются мои друзья. Пришли жены товарищей, мужа подруг. Заходят даже некоторые работники, члены партии, стараются подбодрить меня.

Вдруг кто-то крикнул в нашу комнату: "Ведут". Раздается команда начальника конвоя: "Очистить площадку перед входом в зал". Всех сгоняют в широкие коридоры справа и слева. Люди боятся конвоя — он всегда состоит из русских солдат, они могут выстрелить за малейшее нарушение их приказов. (По политическим делам конвоировать заключенных никому, кроме русских, не доверяют.)

Площадка пуста. Пользуясь своей адвокатской книжкой, выхожу на середину (адвокаты так же, как прокуроры или работники суда, имели право ходить свободно по помещению в момент привода и увода заключенных). Туда же выходят и становятся по сторонам многие адвокаты, работники суда, секретарши.

Первым по пустой и широкой лестнице ведут отца. Ему трудно подниматься. Его поддерживают конвоиры с обеих сторон. С середины лестницы он заметил меня. На его мертвенно-бледном лице загорелись глаза. Медленно двигаясь по направлению к залу, он не отрывает от меня глаз, как будто перед ним видение...

Мне кажется, кричу: "Папа!"... но не слышно ни звука...

Куда пропал голос? Отца уже ввели в зал.

Ко мне подходит Алексей и сердито, сквозь зубы цедит: "Что ты вдруг онемела?"

Как мне объяснить ему, почему я онемела? Могу ли я выразить, что происходило со мною, когда отец смотрел на меня?

Вторым ведут Рамендика. Он тоже слаб, еле передвигает ноги. За ним следует Пайкин, затем Гольдберг. Из публики выкрикивают их имена. Они стараются разглядеть родных.

Бодро поднимается Рафо Элигулашвили. Он оглядывается по сторонам, отвечает на возгласы родственников.

Последним ведут Хаима. Он почти бежит по лестнице. Но тут все смешалось: адвокаты начали громко кричать: "Хаим! Хаим! Не сдаваться!.." Неожиданно откуда-то из публики вырывается неугомонная пятилетняя Лиля — дочь Хаима и с радостным возгласом "папа!" бежит к нему. Ее тут же хватает за золотистые кудри один из конвоиров и швыряет в толпу женщин.

Уже ввели всех в зал. За ними глухо закрываются широкие дубовые двери... И хотя двери изнутри запираются на замок, снаружи, у входа, становятся вооруженные солдаты.

Толпа из коридора вывалила на площадку. Слышны приглушенные рыдания, радостные восклицания. Кто-то приказывает: "не шуметь", — и все замолкают.

Снова воцарилась тишина и тревожное ожидание.

Прошел уже час. Адвокатов, участников процесса, не допускают к подсудимым.

Прокурор Шецирули дважды поднимается с 4 этажа и снова уходит.

Чувствуется какая-то нервозность. Старший секретарь Верховного суда часто заходит в зал через боковые двери. Время проходит... Уже около часа дня, но не видно и признаков начала процесса. Никто не знает, что происходит внутри зала.

Стою у окна на площадке и негромко разговариваю с адвокатами. Вдруг вижу, как по лестнице в сопровождении двух неизвестных мне лиц поднимается профессор Николай Григорьевич Кипшидзе, с которым я была хорошо знакома. Проходя мимо, он делает вид, что не узнает меня. Его вводят прямо в зал, где сидят заключенные.

Наконец председательствующий Убилава вызывает



к себе адвокатов и сообщает им, что ввиду болезни подсудимых Д. Баазова и Рамендика он вызвал врача, и в зависимости от его заключения будет решен вопрос о возможности слушания дела.

Вдруг все мои страхи куда-то исчезли, осталось лишь волнение за здоровье отца. Он давно страдал болезнью сердца, и это в течение вот уже 10 лет было предметом постоянной тревоги в нашей семье.

Неужели состояние отца настолько тяжелое, что суд пригласил крупнейшего в республике кардиолога?!

Но профессор Кипшидзе не просто крупный специалист, он является правительственным врачом. Говорят, он пользуется большим доверием "отца народов", который часто вызывает его к себе. Он избирался депутатом Верховного Совета Грузии.

Смешно думать, что приглашение специалиста такого ранга вызвано озабоченностью Убилавы состоянием отца или Рамендика. Таких, как он, не остановит ничто, даже если подсудимый умрет во время процесса. Ему нужна для приобщения к делу лишь бумажка — заключение врача о возможности допроса подсудимого.

Но для этого обычно в суд вызывается врач из любой поликлиники или, в особых случаях, из бюро экспертизы. Начинает казаться, что появление профессора Кипшидзе является первым мрачным симптомом тяжелой болезни отца. Меня вдруг пронзила страшная мысль.

Несмотря на то, что и у отца, и у Рамендика была высокая температура и они еле держались на ногах, эксперт дал заключение, что по состоянию здоровья подсудимых допросить можно.

Адвокатов пригласили в зал, и председательствующий объявил постановление о слушании дела.

После оглашения анкетных данных в протоколе, председательствующий приступил к чтению обвинительного заключения, которое длилось до 7 вечера.

Никто из подсудимых виновным в предъявленном ему обвинении не признался.

На этом заседание суда 23 марта было прервано.

Когда на другой день утром перед зданием Верховного суда остановился "черный ворон" и подсудимые стали выходить оттуда, всем нам, находящимся на улице, показалось, что отец со вчерашнего дня "переродился", он выглядел спокойным и бодрым. Он знает, что сегодня начнется его допрос.

Ровно в 10 часов за подсудимыми наглухо закрывается дверь большого зала. Я избегаю общения с родственниками подсудимых и ухожу в адвокатскую комнату. Они, конечно, догадываются, что мне известны материалы дела и ход судебного следствия и, естественно, хотят узнать побольше подробностей. А я боюсь подвести Алексея и Дмитрия — они могут серьезно пострадать за разглашение секретных материалов дела.

Тем более, что по коридорам рыщет много осведомителей с обостренным слухом и зрением и им наверняка известно, что я после окончания судебных заседаний вечера просиживаю в доме Алексея.

Отца допрашивали в течение 3-х дней. В первый день перед началом допроса председательствующий предложил отцу "правдиво и подробно рассказать суду о всей его преступной сионистской деятельности".

...И отец начал рассказывать. Он начал с описания того гнета и бесправия, в котором находились евреи в России и в Грузии в начале двадцатого столетия. Следуя за ходом времени, он рисует потрясающие картины беспощадной расправы погромщиков над евреями в разных концах Российской империи с начала столетия до установления советской власти.

Признает, что еще в ранней юности, потрясенный трагической судьбой своего народа, преследуемого всюду в течение тысячелетий, он стал в ряды тех, кто боролся против физического и духовного уничтожения еврейского народа.

Не отрицает, что, получив духовное образование в еврейских училищах в Вильно и Слуцке, сблизился и сдружился со многими впоследствии выдающимися

борцами против национального гнета в царской России. Но ведь за то же самое боролись и лучшие большевики — и евреи, и русские, и грузины...

Да, признает, что до 1920 года неоднократно принимал участие во всемирных, российских или закавказских еврейских конгрессах и конференциях. Но все это происходило в интересах спасения все еще преследуемого, хотя уже пережившего катастрофические погромы русского и польского еврейства, с целью спасения еврейской религии, его культуры, его национальной самобытности от всех злобных антисемитов.

И разве все то, за что я боролся и о чем мечтал — спасение евреев от физического уничтожения, предоставление им свободы и права на национальное самоопределение, — не провозгласила советская власть? Разве не она впервые предоставила всем униженным большим и малым народам бывшей Российской Империи свободу и право на возрождение своей национальной культуры?

— Получается, что мы должны дать вам сдачи? — цинично заметил председательствующий...

— Или извиниться перед вами и отпустить вас домой? — злобно бросает прокурор.

День кончается. Почти без перерыва отец, больной и голодный, стоя, давал показания в течение всего заседания. Обессиленный, он садится.

Объявляется перерыв до следующего утра.

На следующее утро перед началом заседания в коридорах Верховного суда появились работники органов. Один за другим заходят они в кабинет председательствующего. Вот мне указывают на следователя Овеяна. Типичный чекист с мутными глазами. Он пристально смотрит на меня.

Когда началось заседание, они вошли в зал. Овеян садится в первом ряду (и тогда, и после следователи часто присутствовали в зале во время допроса их подсудимых, — для психологического воздействия).

Второй день допроса отца начинается грубой репликой прокурора:

— Сионистская деятельность агента международной буржуазии и врага пролетариата подсудимого Баазова доказана со всей очевидностью. Теперь пусть он расскажет суду о своей контрреволюционной деятельности после установления советской власти в Грузии.

И, повышая голос, сразу задает множество вопросов:

— Проповедовали в народе реакционные идеи еврейского национализма?

— Под видом религиозного служения вели пропаганду против советской власти?

— Вербовали в подпольную сионистскую организацию враждебные советской власти элементы?

— Распространяли еврейскую литературу? Обучали еврейскому языку нелегально?

— Имели преступную связь с ныне разоблаченными врагами народа — с московскими сионистами?

Вопросы, вопросы, вопросы...

Прокурор все повышает голос. Доходит до иступления.

— И вы не признаете себя виновным в предъявленном обвинении?

— Нет! — твердо заявляет подсудимый Д.Баазов и спокойно продолжает: — Кричать — не значит доказать обвинение. Ваши вопросы — формулы обвинения. Обвинение надо доказать. У вас нет доказательств моих преступлений, потому что я их не совершил.

— Чем вы можете опровергнуть обвинение? — не унимается прокурор.

— А чем вы подтверждаете предъявленное мне обвинение? — спрашивает в свою очередь подсудимый Баазов.

— Вы не имеете права задавать вопросы прокурору, — вмешивается председательствующий. — Отвечайте на вопросы прокурора суду.

И подсудимый Баазов продолжает давать показания... Он подробно обрисовывает положение грузинского

еврейства в момент установления советской власти в Грузии. Как, застывшее веками в темноте и нищете, вдруг оно оказалось за бортом жизни, все попали в "черные списки", так как подавляющая их масса в прошлом занималась мелким "коробейничеством" или торговлей "воздухом".

Дети по всем районам поголовно оставались вне школ. Родители владели жалкое существование. Правительство проявляло большую заботу о меньшинствах. Оно предоставило широкую автономию осетинам, абхазцам, аджарцам, живущим на определенной территории. Но положение грузинских евреев оказалось плачевным, так как они были разбросаны мелкими общинами по всей республике.

— Я обратился к правительству с просьбой учредить еврейские школы, где наряду с другими предметами преподавали бы и еврейский язык, об открытии также других культурных учреждений, подобных тем, которые широко развивались у всех национальных меньшинств. Просил выделить землю для приобщения евреев к земледелию и принять срочные меры для трудоустройства находящейся без всяких средств к существованию большой группы людей без определенной профессии...

И далее:

... Вся деятельность передовой еврейской интеллигенции в двадцатых годах была направлена на улучшение тяжелого экономического положения грузинского еврейства и его национально-культурного возрождения. Все наши действия носили законный характер. Правительство помогало нам и заботилось о нас. Мамия Орахелашвили, отозвавшись на мое обращение, публично выступил в газете "Коммунисты" в 1923 году с предложением ввести в программу еврейских школ идиш для обучения русских евреев и древнееврейский язык для грузинских евреев.

— Мамия Орахелашвили оказался врагом народа, агентом мирового империализма, — кричит прокурор.

— Но тогда он был Председателем Правительства, — отвечает подсудимый. — Руководство Народного комиссариата просвещения помогло нам учредить ряд культурно-просветительных учреждений.

— Канделаки разоблачен как враг народа! — опять грубо прерывает подсудимого прокурор.

— Но тогда он был Народным комиссаром просвещения, — говорит подсудимый. — Все мои действия в те годы были согласованы с правительством и соответствовали советским законам. Обвинение голословно. Вы не можете привести никаких доказательств моей антисоветской преступной деятельности...

— В результате вашей агитации и подстрекательства в 1925 году большая группа грузинских евреев эмигрировала в Палестину, — начинает атаковать подсудимого председательствующий.

— Эмиграция грузинских евреев в Палестину имеет давнишнюю историю. Еще в начале XVIII столетия религиозные евреи часто уезжали на Святую землю. В 1925 году группа религиозных евреев уехала с согласия и разрешения правительства.

— Но эмиграцию организовали и возглавили вы? — продолжает наступать Убилава.

— Я был официально делегирован грузинским правительством в Палестину с целью изыскания там возможности получения земли для находящейся в крайней нищете части религиозных грузинских евреев.

— Я получил сертификаты официально, как представитель Советской Грузии, от тогдашнего правителя Палестины генерал-губернатора Герберта Семюэля.

— Но почему вы их не отговорили, почему не постарались замлеустроить их здесь? — продолжает избличать его председательствующий.

— Мы старались, просили землю. Но тогда не было свободной земли. На мои требования Саша Гегечкари с сарказмом ответил, что "если высохнет Черное море, тогда можно будет выделить евреям землю".

— Саша Гегечкари посмертно разоблачен как враг народа! — злобно замечает прокурор.

— Но ведь тогда он был Народным комиссаром земледелия! — напоминает прокурору подсудимый.

— Сегодня это не имеет значения. Сами по себе ваши действия являются антисоветскими! — кричит прокурор и, вскакивая, говорит суду: — Я обращаю внимание Высокого суда на то, как выкручивается припертый к стене подсудимый Давид Баазов. Для оправдания своей преступной деятельности он ссылается на врагов народа. Неудивительно, что враг с помощью врагов ввел в заблуждение грузинское правительство и добился организации эмиграции грузинских евреев в Палестину.

— Неверно! — перекрикивает прокурора подсудимый Баазов, и похоже, что его никто и ничто уже не остановит. — Я заявляю, что вся моя деятельность в те годы, то, что вы называете преступлением против советской власти, осуществлялось не с помощью врагов народа, а в соответствии с решениями Правительственной комиссии, возглавляемой Серго Орджоникидзе. Эта комиссия была назначена в начале 20-х годов высшими советскими и партийными органами специально для разрешения тяжелых экономических и культурных проблем грузинских евреев. В эту комиссию, помимо Серго Орджоникидзе, входили также и Ваню Стуруа и Миха Цхакая. Ввели и меня. Все культурно-экономические мероприятия, проводимые тогда среди грузинских евреев, — открытие еврейских школ, преподавание еврейского языка и истории, учреждение культурно-просветительных органов, а также и эмиграция евреев в Палестину — совершались с ведома и разрешения этой комиссии. С ведома и разрешения лично Серго Орджоникидзе. Для подтверждения правдивости моих показаний я возбуждаю ходатайство и категорически требую:

1. Истребовать из архивов Наркомпроса и Наркомзема, а также из отдела НКВД — все документы и материалы, относящиеся как к проведению всех вышеупомянутых мероприятий, так и к организации эмиграции грузинских евреев.

2. Запросить Вану Стуруа, Миха Цхакая и особенно Серго Орджоникидзе об обстоятельствах эмиграции грузинских евреев в 1925 году.

Ходатайство подсудимого Д.Баазова произвело впечатление разорвавшейся бомбы.

Прокурор охрип от крика: "Наглость преступника!.. Требуется допросить соратников Великого Вождя!.. Как он смеет?! Отказать, отказать!"

Члены суда явно были растеряны. С нескрываемым гневом председательствующий вскакивает и, уже стоя, вспомнив о защите, спрашивает ее мнения.

Защита поддерживает ходатайство.

Председательствующий объявляет перерыв на час и исчезает вместе с прокурором.

Всем ясно: пошли докладывать "наверх" о неслышанно дерзком ходатайстве подсудимого Баазова и получить указания, как реагировать.

В отличие от военных трибуналов, где почти все работники русские, в Верховном суде Грузии трудно удержать в тайне происходящее за закрытыми дверями. Грузин не может не поделиться с близким о слышанном или виденном. И вот суматоха, поднявшаяся в зале в связи с ходатайством подсудимого Баазова, уже обсуждается в кулуарах Верховного суда.

Друзья не скрывают своего восторга и восхищения поведением Баазова. Многие удивлены, но не смеют обсуждать с кем-либо происходящее. Есть и такие, что возмущаются наглостью "врага". Но таких очень мало.

В адвокатскую комнату входит адвокат Робидон Каландадзе. Он садится отдельно в углу, спиной ко всем, и молча курит одну папиросу за другой. К нему подсаживается один из адвокатов, его однофамилец и односельчанин. Он пытается узнать, какое впечатление произвело на того происходящее в зале.

— Робидон, что скажешь о нем?

Робидон долго молчит, курит и кашляет, потом, как бы самому себе, говорит:



— Да-а, умный человек!

Снова молчит, кашляет и курит. И вдруг смеется своим, всем нам хорошо знакомым иезуитским смехом и опять, словно ни к кому не обращаясь, произносит:

— Зачем ему защита?! Зачем ему Алексей и Дмитрий?! — И, хихикая, выходит из комнаты.

Никто не мог понять, что именно хотел сказать Робидон. Но всех поразило отсутствие желчи в его голосе и тех эпитетов, без которых он никогда не умел разговаривать о преступниках даже после того, как из грозного судьи превратился в адвоката.

Проходят часы, заседание не возобновляется. Обстановка накаляется. Нервозность публики усиливается. Все понимают: в эти минуты где-то решается судьба процесса.

Мрачные предчувствия, охватившие меня еще до начала процесса — при появлении профессора Кипшидзе, усиливаются. День подходит к концу. По распоряжению старшего секретаря Верховного суда конвой увозит заключенных.

Утром, 26 марта, открыв заседание, председательствующий огласил постановление судебной комиссии:

— Ходатайство подсудимого Баазова за необоснованностью — отклонить!

Продолжается допрос.

— Расскажите о ваших связях с фашистами.

Подсудимый Баазов:

— Это обвинение чудовишно!

Председательствующий:

— Об этом показал на следствии ваш старший сын — Герцель.

Как всегда, при упоминании имени Герцеля, голос отца дрогнул:

— Дайте мне очную ставку с моим сыном.

Прокурор:

— Ваш сын осужден и сослан.

Подсудимый Баазов:

— Дайте мне показания, написанные им собственноручно.

— В деле имеются копии его показаний. Может быть, вы не доверяете органам? Или обвиняете следствие в составлении ложных протоколов допроса вашего сына?

Подсудимый:

— Где я нахожусь? В советском суде? Кому пришла дикая мысль обвинить меня в связи с врагами моего народа, людоедами, преследователями гениальных сынов еврейского народа, жаждущими крови моих детей? За что? Почему?.. Скажите!.. Объясните!..

Он обращается к прокурору, председательствующему, к заседателям и к сидящим в зале работникам суда и прокуратуры. А в голосе такой трагизм и печаль, что зал, кажется, на мгновение оцепенел.

Председательствующий, поняв, что его вопросы о связи отца с фашистами не дали желаемого результата, круто повернул допрос и принялся за других подсудимых.

В течение последующих двух дней допросили доктора Рамендика, доктора Гольдберга и бывшего директора 103-й русско-еврейской школы Пайкина. Ни один из них в предъявленном ему обвинении виновным себя не признал. Не отрицая дружеских взаимоотношений с подсудимым Баазовым в течение многих лет, они решительно отрицали какую-либо преступную связь с ним или участие в подпольной сионистской организации, а также всякую агитацию и пропаганду против советской власти.

Показания Рамендика, Гольдберга и Пайкина Д. Баазов полностью подтвердил.

Как и следовало ожидать, несколько иную линию занял подсудимый Рафо Элигулашвили. Лишь иронией судьбы можно было объяснить, что Элигулашвили оказался рядом с отцом на скамье подсудимых по обвинению в сионизме.

В середине 20-х годов родители Р.Элигулашвили с детьми переехали из Кутаиси в Тбилиси. Как все передовые молодые люди того времени, Рафо — почти еще мальчик — вместе со своим старшим братом Веньямином появился в окружении отца и Герцеля. Будучи однолетками, Хаим и Рафо быстро сдружились, вместе учились и вместе поступали в университет. Веньямин же держался ближе к Герцелю и вступил в основанную им тогда корпорацию "Авода".

Но вскоре, через год-два, Рафо вступил одним из первых грузинских евреев в комсомол, оказался в первых рядах борцов против "национализма и фашизма" на еврейской улице, против "баазовщины".

В 1926-1928 годах яростную борьбу за уничтожение еврейского духа и "ниспровержение авторитета Баазова" вел заведующий агитпропа ЦК партии Грузии армянин Питоев, органически ненавидевший евреев.

Немалая "заслуга" наряду с Питоевым принадлежит и Рафо в ликвидации еврейских культурных учреждений.

Обладая редкими способностями подниматься по партийной лестнице, Рафо стал быстро занимать один за другим ответственные посты. В 30-х годах, после Маркмана, он был назначен Председателем Президиума Груз ОЗСТ, а к моменту ареста занимал пост Закавказского уполномоченного Внешторга СССР.

Сейчас, на процессе, оскорбленный до глубины души в своих партийных чувствах, Р.Элигулашвили резко отмежевывается от Баазова, утверждая, что он еще с юности боролся против него. В качестве доказательств своей правоты он перечислял все свои заслуги в борьбе против влияния Баазова на еврейские массы. Что у него общего с раввином Баазовым? Он воспитанник партии и предан ей душой и телом.

Да, в этом он был прав. Ничего между ними общего не было!

Но, видимо, кому-то наверху, решившему "убрать" его, пришла циничная мысль: как еврея, "подшить" его к "еврейскому" делу.

Защитник Элигулашвили – умный и опытный адвокат Амирагов, прекрасно понимая, какой опасностью чревата конфронтация подсудимых, повел защиту тактично и доказывал, что в действиях подсудимых вообще нет состава какого-либо преступления.

Никто, конечно, не знал таинственного механизма арестов. Но к концу 1938 года в Тбилиси считали закономерным аресты видных, талантливых и выдающихся личностей. Уже перестали удивляться и не спрашивали, почему взяли того или другого. Удивляло и казалось странным, почему не взяли того или другого из числа выдающихся людей. Дошло даже до того, что люди стали с подозрением смотреть на многих потенциальных кандидатов и втихомолку доверяющие друг другу шептались: "Значит, у него совесть не чиста", хотя никто не смог бы ответить, за что их должны посадить.

К примеру, неразгаданной загадкой для многих был патриарх грузинской адвокатуры Шалва Месхишвили. По происхождению дворянин, сын прославленного и любимого народом артиста Ладо Месхишвили (чье имя носит сегодня Кутаисский государственный драматический театр), он в прошлом в правительстве независимой Грузии был министром юстиции, а после советизации Грузии благодаря своим блистательным дарованиям стал создателем и лучшим представителем грузинской адвокатуры и адвокатской школы. И вот люди удивлялись: каким образом после разгрома подавляющего большинства старшего поколения адвокатуры и многих молодых, выросших уже при советской власти, он остался на свободе?!

И кто мог объяснить, почему при создании "сионистского дела" Д.Баазова жребий пал на Г.Чачашвили – молодого парня, тихого и скромного работника Историко-этнографического музея евреев Грузии, который был очень далек от Д.Баазова и от всех прошлых сионистских деятелей. Впоследствии он защитил дис-

сертацию и получил звание доктора исторических наук. Ныне он работает в Государственном этнографическом музее Грузии. А уцелели, к счастью, действительно активные и видные в прошлом сионисты (столь активно действовавшие до самороспуска сионистской организации грузинских евреев).

На процессе подсудимый Г. Чачашвили категорически отрицал предъявленное ему обвинение в том, что, будучи завербованным Д. Баазовым, вступил в подпольную сионистскую организацию и вел антисоветскую пропаганду. Показание Г. Чачашвили подсудимый Д. Баазов подтвердил полностью.

Последним допрашивали Хаима. Он с предельной ясностью доказал всю несостоятельность предъявленного ему обвинения. Простой арифметический подсчет свидетельствовал, что тогда, когда он, по утверждению обвинительного заключения, вступил в организацию "Цейре Цион", ему было — 12 лет (по действующему закону лица, не достигнувшие 16-летнего возраста, не подлежали уголовной ответственности по ст. 58 УК).

Сразу же после допроса Хаима по всем коридорам и кабинетам распространился слух, что Хаим идет на полное оправдание, прокурору придется отказаться от обвинения.

Никто не знал источника этих слухов, но в тот день, когда после заседания уводили заключенных, не только адвокаты, но многие беспартийные работники, секретарши, машинстки, несмотря на грозные предупреждения конвоиров, громко кричали ему вдогонку: — Хаим, через два дня ты будешь с нами!

После окончания судебного следствия, которое за отсутствием в деле свидетелей, каких-либо документов или других видов доказательств по сути свелось лишь к допросу подсудимых, председательствующий Убилава объявил перерыв на день и предложил сторонам подготовиться к прениям.

Рано утром близкие друзья адвокаты собрались дома у Алексея. Туда же пришел и Дмитрий Кандела-

ки. Мы обсуждали данные, полученные в результате судебного следствия.

Впервые с начала процесса я решила поделиться с товарищами своим мрачным предчувствием о возможности применения к отцу высшей меры наказания. Товарищи, в том числе и адвокаты, участники процесса, хором обрушились на меня, утверждая, что подобная возможность исключается безоговорочно. Они были правы, потому что исходили из "требований закона".

Дело в том, что отцу, как и всем остальным, было предъявлено обвинение по статьям 58-10 и 58-11 Уголовного кодекса Грузии. Статья 58-10 состояла из двух частей. Часть первая гласила:

"Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти.. а равно и распространение, или изготовление, или хранение литературы того же содержания — наказываются лишением свободы сроком до десяти лет".

Часть вторая предусматривала совершение тех же действий при отягчающих обстоятельствах и влекла за собой высшую меру наказания — расстрел.

Статья 58-11 своей самостоятельной санкции не имела. Она указывала на организационную деятельность в целях совершения государственных преступлений, и наказание за нее определялось по статье уголовного кодекса, предусматривающей конкретно те действия, для совершения которых была создана антисоветская организация.

В резолютивной части обвинительного заключения отцу было предъявлено обвинение по ст. 58-10 без указания части.

По причине спешки, или безалаберности, или просто не считаясь с процессуальными тонкостями, следствие упустило указать, по какой части ст. 58-10 обвинялся Д.Баазов.

Покорная НКВД прокуратура слепо утвердила обвинительное заключение. А обвинение было сформулировано по признакам части первой статьи 58-10 (формулировка обвинения по части второй полностью исключалась за отсутствием в деле необходимых для этого квалифицирующих признаков).

С точки зрения законности указанное обстоятельство категорически лишало прокурора права требовать высшую меру в отношении отца. Поэтому товарищи не разделяли моих опасений. Все были твердо убеждены, что Хаим будет оправдан. Допускали, что Давид может быть осужден — не по доказанности обвинения, а по указанию сверху. Но в худшем случае в пределах от пяти до десяти лет лишения свободы.

Спорили со мною, что, дескать, на процессе в Верховном суде республики не пойдут на столь открытые, грубые нарушения закона. Процесс закрытый, но он прогремел по городу, да и время другое, настала перемена, кончилось ежовское "правовое" царство.

Но какой-то внутренний голос отчаянно кричит во мне, что все, все возможно и ничего не изменилось. Вечером спешу домой подготовить маму и сестру (которые надеются и верят в освобождение отца и Хаима) к тому, что завтра, быть может, они услышат требование прокурора о расстреле отца.

Когда в начале своей обвинительной речи прокурор высказал сожаление о том, что органы следствия не смогли до конца раскрыть и разоблачить все преступления матерого врага советской власти и агента международной буржуазии подсудимого Д. Баазова, — уже ни у кого не осталось и тени сомнения, что он потребует в отношении обвиняемого высшую меру.

Дальше, по существу, началось второе чтение обвинительного заключения.

Размахивая руками, прокурор орал, как разъяренный зверь, выкрикивая последовательно одно положение обвинительного заключения за другим, считая его неопровержимо доказанным.

Все, что только можно было вычитать из дела, вплоть до факта рождения Д. Баазова, он считал преступным и контрреволюционным...

Учился в детстве в религиозной школе, изучал еврейский язык — преступление; участвовал в еврейских сионистских конгрессах, связан с отрядом международной контрреволюции, выступал, писал по еврейским вопросам, разжигал национальную рознь... Произносил религиозные проповеди в синагогах, вел шовинистическую пропаганду, требовал учреждения еврейских школ и обучения там еврейскому языку — антисоветская национальная политика; обучал собственных сыновей и других детей еврейскому языку и истории — агитация. Организовал эмиграцию грузинских евреев — коварный враг ввел в заблуждение советское правительство. Встречался в Москве с представителем "Агроджойнт" И. Розиным — передавал шпионские сведения агенту империалистической державы... Особенно возмущался прокурор поведением подсудимого Баазова на суде. "Как! Разоблаченный враг, маскировавшийся в течение длительного времени, подсудимый Баазов не только не раскаялся перед советским судом, но для оправдания своих преступных действий бесстыдно посмел сослаться даже на соратников Великого Вождя, желая тем самым дискредитировать их. Но час расплаты настал! Такого опасного врага надо уничтожить!"

Прокурор признал также полностью доказанным обвинение Рамендика, Элигулашвили, Гольдберга, Пайкина и Чачашвили в том, что они были участниками организованной и руководимой Баазовым антисоветской организации (это при полном отрицании ими предъявленного обвинения и отсутствии в деле каких-либо доказательств вины).

Касаясь обвинения Хаима Баазова, прокурор вынужден был признать, что участие его в антисоветской организации на судебном процессе не доказано (еще бы, уж слишком парадоксальным выглядело



бы обвинение!), но он убежден (какой неоспоримый вид доказательства!), что Хаим Баазов, выросший в такой антисоветской семье, не мог не знать о контрреволюционной деятельности своего отца. Знал и не донес! Поэтому его следует осудить за недоносительство.

В заключительной части прокурор потребовал: снять с подсудимого Хаима Баазова обвинение по ст.58-10-11 УКГ и по ст. 58-12 осудить его к лишению свободы сроком на 5 лет.

Подсудимых Рамендика, Элигулашвили, Пайкина, Гольдберга и Чачашвили, по статьям 58-10 ч. I-II УК Грузии, осудить каждого к 10 годам лишения свободы.

Подсудимого Давида Баазова как коварного и опасного врага Советской власти, по ст. 58-10 – к высшей мере наказания – расстрелу.

Тяжело было защитникам. Не потому, что обвинение отца было обосновано и им нечем было опровергнуть доказательства его вины, а потому, что всю деятельность отца, которую нигде и никогда немислимо было бы расценивать иначе, как возвышенную и благородную, и которая не могла быть преследуема советскими писаными законами, теперь непреодолимая сила считала смертельным преступлением.

После окончания судебных прений председательствующий, перед тем как дать последнее слово подсудимым, обратился к ним с предложением: пока еще не поздно, признаться и чистосердечно, искренне раскаяться в совершенных преступлениях, что будет учтено судом как смягчающее вину обстоятельство при вынесении приговора.

Подавленные и растерянные неожиданным для всех грозным требованием прокурора, люди, затаив дыхание, ждали, что скажет в последнем слова Давид Баазов. Дрогнет ли он перед угрозой смерти? Признает справедливость предъявленного ему обвинения и станет раскаиваться, прося пощады?

– Как! Признать преступлением любовь к своему народу, к его трагической истории, его древнему свя-

щенному языку? Растоптать ногами свою святую религию, служение народу, которое для меня выше и дороже жизни, дороже любимых детей? Нет!

Он говорит долго, голос его звенит все чище и громче, он слышен в коридорах и кабинетах, где собралось много судей, прокуроров, партийных адвокатов, чтобы послушать его.

Он походит скорее на трибуна, чем на подсудимого. С логической последовательностью доказывает ненаказуемость по советским законам действий, за которые прокурор требует смертной казни.

Он обращается к прокурору, к составу Коллегии:

— Вы — дети многострадального грузинского народа, который тысячелетиями истекал кровью за сохранение своей самобытности, своей культуры и языка. Царское самодержавие стремилось уничтожить грузинскую культуру и грузинский язык. Советская власть принесла вам небывалый расцвет национальной культуры. И если сегодня в Советской Грузии вы, грузины, хотите казнить меня за преданность своему народу, за любовь к своему языку... Тогда стреляйте... — И он обнажил грудь... — История моего народа знает много невинных жертв. За мою святую религию пролито много невинной крови. И если по воле Всевышнего мне суждена такая кара, да будет благословенно Его решение.

Прокурор и судьи долго не поднимают головы. В зале, коридорах и кабинетах людей охватило оцепенение. Молча расходятся. Никто ни с кем не заговаривает, кто-то качает головой. В зале продолжается заседание.

Очень коротко произносят последнее слово Рамендик, Пайкин, Гольдберг, Чачашвили. Все они просят не выносить смертного приговора Д.Баазову.

Р.Элигулашвили снова отстаивает свою партийную честь.

Хаим, заливаясь слезами, не может вымолвить ни слова.

Председательствующий объявляет, что приговор будет оглашен завтра, во второй половине дня.

Суд удаляется в совещательную комнату. Завтра 2 апреля, пятница, канун праздника Песах.

День подходит к концу. Уже темнеет. Не дожидаясь увода заключенных, как во все предыдущие дни процесса, я с некоторыми старыми адвокатами поднимаюсь на 6-й этаж.

Там один из близких нам работников уступает свой маленький кабинет, а сам, на всякий случай, уходит.

Лихорадочно обсуждаем положение. Что делать? Одни считают, что надо подождать приговора. Они все же уверены, что Коллегия не пойдет на такое грубое нарушение закона открыто и отклонит требование прокурора. Другие, наоборот, считают, что следует сейчас же обратиться к руководителю партии и правительства Грузии — Филиппу Махарадзе, НКВД — Рапаве (которого назначил Берия после расстрела Гоглидзе), к секретарю ЦК Кандиду Чарквиани.

Мне все это кажется безнадежным, так как я уверена, что судьба подсудимых была предрешена в тот день, когда после возбуждения ходатайства Давидом Баазовым прокурор и председательствующий растерялись, побежали к своим хозяевам. Мы великолепно знали, что и Убилава, и Шецирули — только слепые орудия неведомой нам силы и что огромный плакат, висящий во всю ширину стены большого судебного зала, на котором крупными буквами написана статья конституции: "Судьи независимы и подчиняются только закону", — издевательство.

Мы знаем, что смертный приговор приводится в исполнение в течение 24-х часов только в отношении осужденных по закону от 1934 года (измена, террор, не подлежащие ни обжалованию, ни помилованию),

а по всем остальным пунктам ст. 58 — немедленно после утверждения председателем ГрузЦИКа.

Нет, в Грузии все двери спасения закрыты наглухо. И я решила, не дожидаясь оглашения приговора, отправить от своего имени "молнию" председателю Верховного суда Союза ССР И.Т.Голякову.

Заметив, что у меня дрожат руки, адвокат Ваню Губеладзе — старый политический деятель и замечательный юрист — берет у меня ручку и почти приказывает:

— Диктуй!

Он выводит крупными буквами: "Отец мой незаконно приговорен 58-10, без указания части, к расстрелу, прошу приостановить исполнение приговора, истребовать дело".

Отправив телеграмму-молнию с уведомлением, я пошла домой. Я решила не говорить Алексею и Дмитрию о телеграмме, чтобы оградить их от возможной неприятности и всю ответственность за подобную дерзость взять только на себя.

Примерно в час ночи я получила телеграмму из канцелярии Верховного суда Союза. Читаю: "Ваша телеграмма вручена лично тов. Голякову. Дело затребовано копия председателю Верховного суда ГрузССР".

Я стараюсь использовать эту телеграмму для смягчения страшного удара, который ждет завтра маму и сестру. Убеждаю их, что телеграмма эта имеет решающее значение и не следует поэтому убиваться даже в случае вынесения требуемого прокурором приговора.

Рано утром 2 апреля я уже в Верховном суде. Рано пришли также многие мои друзья. Они бегают по всем этажам в надежде выяснить мнение ответственных работников о содержании приговора. Но никто ничего не знает.

Еще очень рано. Никто не может понять, почему появляется новая большая бригада конвоя. Начальник бригады расставляет конвоиров по коридорам, у входа в большой зал заседаний, по лестницам. Это

еще больше усиливает напряженность, которая со вчерашнего дня охватила почти все здание.

Многие не могут скрыть недоумения, растерянности в связи с этим странным процессом, но боятся спрашивать — лучше молчать.

Казалось, что в этом здании никого ничем нельзя уже удивить. Здесь давно привыкли ко многим "громким" делам, ко многим неправым приговорам. Знали работники всех рангов в этом здании и то, что без всякой судебной процедуры "оттуда" исчезли тысячи известных людей. Давно было узаконено считать этих людей "шпионами", "изменниками", "террористами", которые, "по указанию Троцкого", хотели свергнуть советскую власть. Никто не знал, кто из них и в чем конкретно был обвинен, но всех называли "троцкистами". "Троцкизм" стал всеохватывающим понятием.

А теперь вдруг впервые появилось в Верховном суде это "еврейское дело", которое по своему характеру совсем не похоже на обычный стандарт. Все в этом деле было им незнакомо и непонятно. И в их сознании это еврейское дело не вмещалось в прокрустово ложе троцкизма.

Эти люди принадлежали к той партийной прослойке, которая вышла на арену в начале 30-х годов и упрочилась во всех органах власти и управления, во всех культурных и хозяйственных учреждениях, изгнав отовсюду беспартийную "интеллигентскую гниль".

Они вышли из той комсомольской гвардии, которая в первые годы советизации Грузии ломала в своих деревнях церкви, ценные памятники древней архитектуры и уничтожала уникальные фрески в древних монастырях, которыми так богата Грузия.

Они были неучами, людьми необразованными (за малым исключением). Они не знали истории своей собственной страны. Они плохо знали русский язык и совсем не знали русской литературы. Все, что они почерпнули из богатейшей грузинской литературы, — это славословия в адрес великого Отца народов и его верного ученика Берия. Их кругозор был ограни-

чен конспектами произведений марксизма-ленинизма. Сейчас их настольной книгой была брошюра Л.П. Берия "К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье".

Они ничего не знали о еврейском народе в целом, не имели представления о еврейском вопросе. Знали лишь о "своих евреях", что давным-давно пришли в Грузию из древней Палестины, знали, что народ этот безвреден и честен, в день три раза молится на библейском языке, по субботам не работает и строго соблюдает все свои праздники. Знали, что грузинские евреи не похожи на русских евреев, которых они считали чужими.

Они представления не имели, что такое сионизм, где и когда он возник и по каким признакам следует считать еврея сионистом и за что конкретно евреи преследуются законом. Они знали, что в центре города Тбилиси стоит древний, великолепный Сионский собор, что недалеко от Тбилиси, по Военно-Грузинской дороге есть деревня Сион, но, не имея ни малейшего представления ни о Ветхом, ни о Новом завете, они не могли уразуметь, есть ли связь между названиями этих мест и сионистами.

Вся их служебная деятельность, как и личная жизнь, регламентировалась директивами и инструкциями райкомов и ЦК партии. Но в них до сих пор ни разу не было указано, как, собственно, следует относиться к евреям, или, вернее, вообще нигде слово "еврей" не упоминалось.

Все они хорошо знали нашу семью. Любили и чттили Герцеля, восторгались его пьесами, рассказами. Любили Хаима. Знали, что Давид в прошлом был раввином, но никто из них не знал его деятельности в царское время или в первые годы советизации Грузии.

Но они были грузинами, и поэтому в отношениях с нами они часто подчеркивали, что, любя и считая нас своими, они особенно уважают нас за то, что мы не стремимся уйти от еврейства, подобно некоторым

образованным евреям, а считаем себя настоящими евреями и гордимся этим.

И вдруг оказывается — желание остаться евреями, учиться или обучать еврейскому языку, знать свою историю и любить свою культуру велено признать столь реакционным и антисоветским, что за это вчера прокурор потребовал в отношении Давида Баазова смертной казни.

Они были грузинами. А грузинский народ в прошлом отличался необычайной терпимостью ко всем народам и религиям, в особенности к еврейской (на то были серьезные исторические основания), и они не могли понять, почему в многонациональной Грузинской республике свободно процветает язык, издательства, школы, театр армян, азербайджанцев, езидов, курдов и других, а для евреев это не только запрещено, но, оказывается, должно преследоваться как государственное преступление.

И они растерялись, но страх заставлял молчать. Тем не менее они не удержались, и когда к трем часам секретарь Верховного суда велел открыть широкие двери большого зала и возвестил, что приговор будет оглашен публично, они начали выскакивать из кабинетов и, опередив публику, первыми ворвались в зал.

Странно, откуда так молниеносно появилось столько народу? В течение всего процесса, а в особенности сегодня, конвой разрешал оставаться на широкой площадке перед залом или в боковых коридорах только родственникам подсудимых.

В течение каких-то мгновений большой зал переполнился, широкая площадка, лестница, боковые коридоры не могли вместить публики.

Мне и адвокатам с трудом удалось протиснуться в зал через боковые двери.

Я стала позади прокурора, напротив подсудимых. Отец смотрит прямо на меня. Среди публики много евреев. Их раньше не видно было, наверное, прятались по коридорам нижних этажей.

Первые два ряда в зале занимает конвой. В зале стоит гул, люди теснят друг друга, вскакивают на высокие подоконники, кто-то локтями раздвигает публику, чтобы дать возможность подойти поближе маме и сестре, Сарре с детьми.

Секретарь суда звонком возвещает о выходе суда. В зале воцаряется могильная тишина.

Открываются двери совещательной комнаты, и оттуда, после пребывания там в течение суток, выходит состав суда. Председатель Убилава начинает читать приговор громким, торжественным голосом:

”Именем Советской Социалистической Грузинской Республики судебная коллегия Верховного суда Грузии в составе... с участием сторон... рассмотрела дело по обвинению подсудимых... установила: подсудимый Д.Баазов, рождения...” И дальше начинается третье чтение обвинительного заключения, чуть-чуть уточненное в соответствии с обвинительной речью прокурора.

В зале замерло все. Воздух колеблют лишь произнесенные громко слова... фразы... мне уже хорошо знакомые, стараюсь не слушать и только смотреть на отца, но помимо воли мой слух ловит их, потому что эти слова и фразы, теперь указанные и публично признанные, падают в сознание, как тяжелые удары молота, и кто-то во мне подсознательно считает эти удары.

”...Д. Баазов, вернувшись из России в 1904 году, привез оттуда чуждые для грузинских евреев идеи сионизма. Создал широкую сеть сионистских организаций по городам Грузии и Закавказья... Проповедуя реакционный шовинизм, отвлекая трудящиеся массы евреев от революционной борьбы, состоял в преступной связи со многими руководителями мирового сионизма и, неоднократно принимая участие в сионистских конференциях Закавказья, на конгрессах русского и мирового сионизма...”.



Чтение продолжается вот уже час... Удары падают ритмично, все с большей силой.

В зале тишина, как будто все вымерло, не слышно шороха. Замер конвой...

Иногда перевожу взгляд с отца на Хаима, и каждый раз мне кажется, что лицо его двоится — вот вижу всегда розовощекого, заливающегося веселым смехом Хаима, а потом он вдруг исчезает, и вместо него вижу Хаима почерневшего, — не серый, а именно черный цвет отличает его лицо от лиц других подсудимых. Ему нет еще тридцати, а всякий даст ему сейчас пятьдесят...

Прошло уже полтора часа, чтение продолжается. Теперь удары наносятся остальным: Рамендик, Пайкин, Элигулашвили, Чачашвили, Гольдберг признаны виновными по формуле обвинительного заключения без изменения.

Отклонение только в отношении Хаима: "Участие Х.Д.Баазова в антисоветской организации судебным следствием не доказано."

По залу, как электрический ток, прошел вздох облегчения: оправдают!

Звонок председательствующего призывает к тишине. Прошло уже два часа. Приговор доходит до своей резолютивной части.

Отпив глоток воды, председательствующий повышает голос:

"Судебная коллегия постановила:

Приговорить: Х.Д.Баазова, по ст. 58 — 12 УК Грузии, за недоносительство — к пяти годам лишения свободы. Рамендика, Пайкина, Гольдберга, Элигулашвили и Чачашвили, по ст. 58—10—11 каждого, — к десяти годам лишения свободы.

Д.М. Баазова, по ст. 58-10-2-11, как опасного и коварного врага советской власти, — к высшей мере наказания — р а с с т р е л у."

Какая-то неведомая сила удерживает зал в полном оцепенении и могильной тишине.

Прокурор и члены Коллегии тоже стоят, молча, опустив головы. Взоры всех устремлены на отца. Он стоит, как изваяние. Он кажется выше, как будто кто-то поставил его на пьедестал. Его бледное лицо озарено внутренним светом. Лоб излучает величие и спокойствие. Ни один нерв не дрогнул на его лице. Только глаза... глаза на фоне бледного лица кажутся особенно жгучими, и взгляд их выражает чувство внутреннего превосходства, смешанного с иронией, да, с иронией (так всем показалось), только глаза говорят, что "изваяние" не из мрамора и в нем бурлит вулканическая непобедимая душевная сила...

...И одно движение: поиграл лежащими на столе белыми, красивыми пальцами. И это тоже многим врезалось в память. Он отводит взгляд от судей, на мгновение останавливает его на мне (внутренний голос приказывает мне: "умри, но держись так, чтобы он не заметил и тени отчаяния на твоём лице"), потом его взор скользит по многим лицам, задерживается на маме, Полине, которая обеими руками вцепилась в маму и не отводит безумного взгляда от отца. Мама своими близорукими глазами смотрит куда-то вдаль... Нет, еще нет, еще не дошло до сознания — она хотя и знает общеразговорный грузинский язык, но приговора не поняла и пока ей никто не сказал... Но вот уже ее и сестру окружают мои подруги.

Вдруг откуда-то снаружи в тишину зала врываются крики и вопли. И зал вздрогнул, тут уже смешалось все — рыдания людей с окриками конвоиров: "Освободить зал, освободить помещение!"

Суд и прокурор удаляются.

Солдаты с примкнутыми штыками выталкивают публику из зала, с площадок, из коридоров, со всех этажей на улицу.

Теперь вопли доносятся с улицы, со двора.

Вместе с друзьями спускаюсь по пустым лестницам. С обеих сторон лестниц стоят конвоиры. Наверх никого не пропускают.

На улице, перед зданием, уже стоит "черный ворон", конвой гонит публику, "очищает" улицу. Евреи прячутся по дворам и подъездам.

На другой стороне улицы вместе с Саррой и детьми стоят мама и сестра, почерневшие и окаменевшие.

Осужденных выводят по-одному. Родные и родственники кричат им подбадривающие слова, обнадеживают. Почти на руках выносят доктора Гольдберга (никто не заметил, что в момент, когда он услышал слово "расстрел", у него произошло кровоизлияние).

Вот ведут рыдающего Хаима. Он громко кричит мне: "Спасай папу!"

Последним, под усиленной охраной, выводят отца. Я стою посредине широкого тротуара между "черным вороном" и входом в здание. Он идет спокойно и медленно, проходя мимо меня, останавливается. (Странно, конвой не трогает его, не гонит.) "Не падай духом... — тихо шепчет он мне, — я всегда верил в тебя... участь твоя тяжела, тебе предстоит выдержать много (что он имеет в виду?), Бог пошлет тебе силы... поддержите друг друга", — и еще что-то — совсем шепотом, но я не расслышала...

"Папа, ты крепись, по моей телеграмме уже затребовано дело... я не боюсь", — выдавливаю из горла, уже следуя за ним. Он еще раз посмотрел на меня, потом взор его остановился на маме, сестре, Сарре с детьми... и "черный ворон" поглотил его...

Потом все провалилось в сознании...

Очнувшись, я не сразу поняла, где я и что произошло. Я находилась в незнакомой грузинской семье, на первом этаже дома, напротив здания Верховного суда. Возле меня стоят подавленные друзья. В комнате горит электрический свет. Сколько прошло времени? Надо ехать домой. А-и молча пошел со мной, остальные расходятся, предупредив, что завтра утром будут ждать меня в Верховном суде.

Мы шагаем молча. А-и очень привязан к нашей семье. Он преклонялся перед отцом и восторгался

Меером. Нас связывала крепкая дружба с детства.

Мы вместе поступали в университет и все студенческие годы занимались вместе у нас дома.

Под влиянием отца и всей атмосферы нашего дома он увлекся историей еврейского народа и знал ее лучше, чем многие евреи и сионисты.

Он любил и ценил книги и вечно пропадал у букинистов, где часто находил редчайшие сокровища, которые с гордостью приносил мне.

Больше жизни он любил свою родную Грузию, ее старину, ее культуру, а людей он любил и уважал — или презирал — в зависимости от того, кто как относился к собственному народу. Это был для него единственный критерий оценки человеческого достоинства, и тут он становился беспощаден и неуступчив. В его глазах были ничтожествами любые знаменитости и таланты, если они не являлись в первую очередь бескорыстными служителями и бескорыстными слугами родной культуры, своего народа. На редкость образованный, одаренный и исключительно трудолюбивый, он отличался беспримерной честностью и добросовестностью.

Неизвестно, какие его качества привлекли внимание кого-то из влиятельных лиц в вышестоящих органах, но сразу же по окончании университета, в 1932 году, за ним начали "охоту", предлагая ему блестящую карьеру. Он очень страдал от такого внимания и решил уехать на время из Грузии, чтобы избавиться от этих предложений. Устроился юрисконсультom в одном крупном тресте на Украине, где проработал несколько лет.

В те годы отцу часто приходилось бывать в Киеве, и А-и не упускал случая встретиться с ним там. Когда А-и приезжал в Тбилиси в отпуск, он с восторгом рассказывал мне, как они с отцом по вечерам гуляли по киевским бульварам, как жадно он ловил его высказывания и как, бывало, знакомил отца с кем-либо из своих новых друзей из среды старых еврейских

деятелей — через пять минут те переходили на еврейский язык и... забывали о его существовании.

Свои рассказы А-и неизменно заканчивал словами:

— Ты представить себе не можешь, какой у вас отец! Я часто думаю, с какой планеты он явился!

Теперь А-и идет молча и ничего про отца не говорит, наверное, вспоминает прогулки с отцом по киевским бульварам.

Недалеко от нашего дома мы остановились.

— Постарайся поспать немного. Предстоит большая и, быть может, длительная борьба, — и уходит.

Мама лежит в кровати. Возле нее суетятся две соседки-еврейки и Полина. Мама не плачет, не кричит. Молча бьется в сильной лихорадке. Когда я подошла к ней, она схватила меня за руки и неузнаваемым голосом произнесла: "Спасай папу".

Утопленники хватаются за соломинку, все кричат мне: "Спасай папу!" Мы все тонем, мы все соломинки.

Даем маме сильное снотворное, и скоро она погружается в сон. Полина, не раздеваясь, ложится у ее ног.

Бабушке сказали, что суд отложили, она сидит и ждет, что мы сядем за стол. Она приготовила в маленькой комнате все для седера. На столе горят две высокие свечи, лежат по порядку, как положено, маца, марор, вино, крутые яйца, хоросет. Она еще раз с удивлением спрашивает, почему мы не идем садиться за стол...

— Бабушка, — прошу я, — мама нездорова, я устала, иди сама.

Я знаю, что с позавчерашнего вечера она ничего не брала в рот. Этот пост — "нишмара" — она держала раньше только в дни "слихот:" в течение 40 дней до Иом-Киппур, два раза по два дня подряд в неделю, постилась. Несмотря на старания отца уговорить ее отказаться от "голодовки" (как говорили мы), она продолжала свое. А после ареста отца установила себе этот пост "до прихода Давида". И вот пошел девятый месяц, как она постится 4 дня в неделю, а Давид вместо дома отправился в камеру смертников.

Кто скажет ей об этом?

Она ни на что не жалуется. Все принимает от НЕГО как благо, за все благодарит ЕГО. Она садится одна за стол и "ломает" пост, произносит киддуш и медленно читает Хагаду...

Меня сильно знобит, и, закутавшись в свою шубку, я сижу в кресле. В квартире никто не зажег света. Через открытую дверь я вижу, как девяностолетняя бабушка, при свете свечей, одна, справляет седер. У нее большое потомство — дети, внуки, правнуки и праправнуки... Но никто, никто не пришел сегодня в наш дом, чтобы не омрачить себе праздник Песах.

Или страх, страх гонит всех евреев подальше от нашего прокаженного дома?

Свечи медленно догорают. Бабушка проглатывает кусочки пищи вместе со скупыми слезами... Иногда из спальни доносится глубокий стон мамы, отдельные слова — она зовет Герцеля, что-то говорит Давиду на идише, потом снова затихает.

Слегка раскачиваясь, бабушка продолжает читать Хагаду. Монотонное чтение постепенно расслабляет мое сознание... Будто сквозь сон, перед глазами возникает другой седер: большой и длинный стол, за которым сидят человек около тридцати... пятнадцать членов семьи, остальные — гости. Во главе стола сияющий отец, справа от него — Герцель, Хаим, Меер, слева — почетные гости и среди них любимый всеми Саид Давдариани (бабушка его называла "цадик-гой"), жена его, Анна Иосифовна, — еврейка и свою очень набожную мать, глубокую старушку, на праздники всегда приводит к нам. Рядом с Саидом сидит обожающий его Яша Штакельберг — ярый троцкист. В начале тридцатых годов его выслали в Тбилиси с Украины за его политические убеждения. Кто-то из старых социал-демократов Украины дал ему письмо к Саиду, который до революции долго жил и работал на Украине, где его считали совестью социал-демократической партии. Саид привел его в наш дом, где никто

его троцкистских взглядов не разделял, но как бездомного и одинокого еврея принимали тепло и заботливо. Штакельберг очень образован и эрудирован. Худой, среднего роста, с черной, непокорной шевелюрой, он всегда был весел и любил острить. Он терпеть не мог читать советские газеты и печатавшиеся в них отчеты о процессах называл "баснями Крыленко". Он знал и ждал, что его возьмут, и, смеясь, уверял, что ночью не запирает двери. И действительно, в одну ночь пришли те, кого он ждал и для кого у него "дверь всегда была открыта", и с тех пор он исчез, канул в неизвестность. Никто не знал, есть ли у него родные и где они...

Погасла одна свеча... путаются мысли... путаются видения... Старушка, читающая одиноко Хагаду при слабом мерцании одинокой свечи, кажется нереальной, и не она, а младший из братьев — Меер читает "Ма ништана". Продолжает отец, и потом по очереди другие. Я слышу звонкий смех Герцеля, он вольно комментирует некоторые места "Легенд", его поддерживает Хаим, веселье и смех несколько отвлекают отца от чтения, и он хочет призвать нас к "порядку" \* , но нам еще веселее оттого, что он не умеет сердиться на нас.

Из всех праздников мама особенно любила Песах. Все в доме блестело и выглядело торжественно. На столе пасхальная посуда и высокие серебряные бокалы. Мама владела своим секретом кухни, в которой искусно комбинировала еврейские и грузинские блюда. Кто-то в ожидании фаршированной рыбы и нежнейших маминых кнейдлах пытается "сократить" текст Хагады, но строго следящий за ходом трапезы отец сразу разоблачает нетерпеливого, который под общий хохот начинает читать пропущенное сначала.

Вот закончилась церемониальная часть Хагады. Льется ароматное кошерное кахетинское вино, и гости

---

\* Игра слов — "Седер" буквально означает "порядок".

состязаются в остроумных тостах... Когда к концу ужина подается огромная румяная индюшка, все смотрят на нее с грустью... никто не в силах дотронуться. А уж настоящей пыткой кажется съесть в конце ужина кусочек афикомана. Но тут обнаруживаются некоторые неполадки. Завернутый в салфетку афикоман отец дал спрятать взбалмошной трехлетней Лиле, дочери Хаима, котрая в ответ на просьбу возратить афикоман, ставит невыполнимые условия. Ее ангельски-красивое личико выражает торжество победы, а глаза лукаво смеются.

Каждого, кто пытается уговорить ее вернуть афикоман, она коварно царапает. После долгих переговоров только дедушке удается уговорить ее смягчить условия. И она указывает место. Каким-то образом она умудрилась салфетку с афикоманом закинуть за огромный шкаф так, что он застрял между стеной и шкафом и достать его оттуда, не отодвигая шкафа, было невозможно.

Под общий смех и веселье молодые люди начинали отодвигать огромный и очень тяжелый шкаф. Полученный после таких усилий кусочек афикомана всем казался очень вкусным. А Лиля продолжала заливаться звонким смехом...

— "Ле шана ха-баа б'Ирушалаим", — отодвигая стул, громко произносит старушка и идет спать... Погасла и вторая свеча... В квартире воцарились темнота и тишина.

...Меня охватывают всеобъемлющая чернота и страх, кто-то во мне стонет, потом, рыдая, ведет меня куда-то, во все черное. Постепенно вижу контуры этого черного... да, это камера, там глухо, темно, ни свет, ни звук туда не проникают. У дверей стоит кто-то, весь в черном, и лицо покрыто черным. Он застыл в ожидании мгновения, когда легким стуком в дверь он возвестит о своем приходе.

"Видишь?"



Это на фоне черной камеры бледное лицо отца. Он плачет. Он молится за Герцеля... за Хаима, за тебя, за всех вас, за многих. Он не выдержит, у него больное сердце, истерзанное судьбой Герцеля, заточением Хаима, страхом за тебя, крушением всего дома..." — с отчаянием кричит тот, другой.

"Выдержит! — кричу я. — Он много раз смотрел смерти в глаза".

"Видишь, как он вздрогнул при стуке в дверь?"

"Это я вздрогнула. Не он. Мне послышался стук в дверь".

"Сколько раз такие расставания придется пережить истерзанному сердцу? Он не выдержит".

"Чего же ты хочешь?" — кричу я на "того".

"Я хочу уснуть, исчезнуть. Сердце искромсано ранами, душа не в силах больше выносить страдания тех, кто там, и мучения оставшихся".

"Пусть окаменеет твое сердце".

"Душа кричит от боли".

"Пусть умолкнет твоя душа".

"Сжалесь!"

"Не мешай!" — приказываю я и безжалостно загоняю "его" в далекие глубинные пласты души, откуда до моего сознания доносятся лишь еле уловимые звуки придушенного стоны и рыданий...

Темнота рассеивается, наступает утро...

Было обещано, что по окончании дела дадут свидание с осужденными. Поэтому в субботу утром я побежала в Верховный суд получить разрешение на свидание с Хаимом (отец не имел права на свидание, смертники — на особом режиме). Родные всех осужденных уже получили разрешение, на моем же заявлении резолюция "отказать".

— Как так? — спрашиваю старшего секретаря Шота.

Он виновато смотрит на меня, пожимает плечами и говорит:

— Знаешь! Зайди сама к председателю Спецколлекции, на меня он орал.

Председатель Спецколлегии Меунаргия — из тех же людей, что Убилава. Он недавно в Верховном суде. Я его знаю.

— Есть соображения не давать вам свидание с братом, — отвечает он на мою законную просьбу.

— Но почему? Ведь Хаим имеет право на свидание, как и все осужденные?

— Мы не обязаны отчитываться перед вами! — грубо отрезал он и уставился на меня светло-зелеными змеиными глазами.

Бедная мама, как она надеется, что в понедельник увидит Хаима... А Хаим? Как он ждет меня, как жаждет узнать, есть ли у меня надежда на спасение жизни отца!

Вечером собираемся у Алексея. Пришел и наш патриарх Месхишвили, который сам пожелал включиться в работу по составлению жалобы в порядке надзора (но об этом никто не должен узнать). Алексей и кто-то еще настаивают, чтобы я задержалась в Тбилиси, пока не будет составлена жалоба, так как им необходима моя консультация по чисто "еврейским вопросам". А Месхишвили категорически требует, чтобы я немедленно вылетела в Москву и там, в зависимости от обстановки, приняла заблаговременно нужные меры. Жалоба может быть готова в лучшем случае через 8-10 дней. Протокол судебного следствия будет представлен адвокатам лишь через 3-4 дня, а без протокола невозможно квалифицированно составить жалобу.

К тому же, надо заблаговременно связаться с защитником и подготовить его. Возможно, даже двоих — отдельно для отца и отдельно для Хаима.

По общему мнению, надо выбрать одного из двух, самых известных и авторитетных в то время в Союзе адвокатов по политическим делам — Николая Васильевича Комодова или Илью Давидовича Брауде. Комодов и Брауде участвовали в январе 1937 года в процессе "параллельного центра троцкистов" по делу

Пятакова, Серебрякова, Радека и других, где Брауде защищал Князева, а Комодов — Пушина. В марте 1938 года по делу "право-троцкистского блока" Бухарина, Рыкова, Ягоды и других Комодов защищал профессора Плетнева и Казакова, а Брауде — доктора Левина.

Я для себя решила остановиться на Брауде, он все же еврей.

А-и взял на себя обязанность следить за ходом составления жалобы и отправить немедленно мне копию самолетом через верного человека. Я решила вылететь, как только достану денег на адвоката. (По указанию Наркомюста президиумы Коллегии защитников обязаны были взыскивать по делам "врагов народа" очень большие гонорары. Мне нужно было достать значительную сумму.)

Материальное положение было очень тяжелым. Предстояли большие расходы, а рассчитывать было не на кого. Мама с сестрой и Сарра с детьми оставались без всяких средств к существованию. Зарплата Меера еле обеспечивала прожиточный минимум его семьи. Мой муж как-то ухитрился покрывать из своей зарплаты большие расходы на мои бесконечные путешествия между севером и югом Союза.

Родственники со стороны отца — дядя Шломо, две сестры-вдовы в Тбилиси и одна в городе — жили в нужде всю жизнь. По мере возможности им помогал отец. У мамы вообще не было в Грузии родственников.

Мои друзья-грузины — нищие интеллигенты. Взять взаймы не у кого. Все шарахаются от меня, как от прокаженной. Есть, конечно, в Тбилиси десятки богатых евреев. Но то ли из страха, то ли из скупости никто из них в эту страшную минуту не отозвался.

В воскресенье во второй половине дня мои подруги (грузинки) К. и Ц. принесли мне значительную сумму денег, которую они добыли, простояв в очереди в ломбард всю ночь и заложив свои драгоценности. В понедельник друзья с большим трудом достали мне билет

на самолет на вторник (самолеты тогда летали нерегулярно, и попасть на них было очень трудно).

Вечером, около девяти часов, возвращаюсь домой. В переулке из синагоги вышел и окликнул меня рабби Меир Джинджихашвили. Войти в дом боялся и, видимо, караулил меня. Он повел меня в темный угол и там, выразив сожаление, что за такой короткий срок не удалось достать больше, передал мне от себя, Шимона Даварашвили и Давида Мамиствалова довольно крупную сумму, точно не помню, но равную примерно 1500 рублям по теперешнему курсу.

Меир Джинджихашвили был шохетом. В юности он последовал примеру отца и уехал учиться в Слуцк. Как своим благородством, так и знанием Торы и либеральными взглядами он резко отличался от многих своих тупоумных и невежественных "коллег", за что последние его постоянно травили и преследовали. Он часто бывал у нас и часами беседовал с отцом, которого просто обожал.

Шимон Даварашвили и Давид Мамиствалов всегда поддерживали отца в борьбе с фанатиками. Они были из общины Цхинвальских евреев, где постоянно молился отец. Благословляя меня, Меир Джинджихашвили украдкой вытирает слезы.

Во вторник утром я вылетела в Москву.

Из-за нелетной погоды в Ростове нас задержали до утра, и в Москву мы прилетели лишь на вторые сутки около часу дня. Сойдя с трапа, я сразу заметила бегущего мне навстречу Меера. Он провел всю ночь и все утро в аэропорту. Шел проливной дождь, и дул холодный ветер. Меер промок и продрог... Мы пошли по полю. Я поняла, что мне не удастся оттянуть время нанесения удара, и сразу выпалила:

— Папа сидит в камере смертников!

Красивое лицо его исказилось, чемодан выпал из рук. Выражение его глаз испугало меня.

— Знаешь! — с какой-то зловещей уверенностью в голосе процедил он. — Если папу расстреляют, я покончу с собой.

Не таков был Меер, чтобы можно было не придавать значения его словам.

— Дурак! — заорала я на Меера. — Ты мне еще угрожаешь?! Как будто это трудно, и я не могу сделать этого раньше, чем ты. А что будет со всеми остальными?

Дверь открывает нам Доця, по лицу Меера она сразу догадывается, с чем я приехала. Я тихо предупреждаю ее, и ее брата Абрашу, и тетю Злату:

— Не оставляйте его одного, следите за ним.

В тот же день Доця через знакомого врача оформляет Мееру больничный лист.

Установив по телефону, в какой из районных коллегий адвокатов состоит Илья Брауде, я к 6 часам вечера еду туда. Сегодня среда. Он принимает по понедельникам и средам с 6 до 8 часов.

На прием к Брауде уже записано человек пятнадцать, и заведующий объявляет, что сегодня Брауде больше никого не примет. Он предлагает ожидающим в коридоре зайти к другим адвокатам.

Я говорю заведующему, что я адвокат, приехала из Тбилиси и мне безотлагательно нужно видеть Брауде по личному делу.

Через несколько минут из кабинета выходит заплаканная женщина и вслед за ней Брауде, который приглашает меня в кабинет.

Он не сразу узнал меня. Я называю себя, напоминаю о встречах с ним.

— Ах да, как же! Знаю. Даже читал роман Герцеля "Петхайн" и об отце слышал. Что произошло?

Я стараюсь сжато и коротко рассказать суть дела. Мне сегодня важно заручиться его согласием принять наше дело в порядке надзора к своему производству. Судя по выражению его лица, рассказываю бестолково.

— Как! Верховный суд, за сионизм, к расстрелу? Без предъявления части II ст. 58-10? Вы что-то путаете...—

Он смотрит на меня недоверчиво, с какой-то жалостью.

На мгновение мне даже подумалось, что я кажусь ему сумасшедшей.

Достаю из портфеля телеграмму, которую я получила из Верховсуда СССР, а также копию моей телеграммы, молча кладу перед ним. Он читает внимательно. Потом задумывается.

— Вот что, — говорит он вдруг, — я очень устал, пришел сюда прямо с большого и тяжелого процесса, к тому же мне еще надо принять десяток ожидающих. Здесь не время и не место для нашей беседы. Завтра у меня нет заседания. Приходите ко мне домой в 10 часов утра, и мы займемся делом вместе.

И. Д. Брауде жил у Земляного вала по Садовой в большом многоэтажном доме. Ровно в десять я уже была у него. На нем — домашний широкий халат, что его еще больше старит. Просторный, хорошо обставленный кабинет, хорошая библиотека, много редких и красивых вещей, но все в запущенном состоянии и оставляет впечатление какой-то старинной свалки. Он извинился за беспорядок и сказал, что никому — ни жене, ни домработнице — не позволяет убирать у него в кабинете, чтобы не перепутали дела. Глядя на его рабочий стол, думаю: можно ли еще больше перепутать этот ворох бумаг, обложек пустых досье, разбросанных по разным местам вперемешку с какими-то постановлениями, указаниями, комментариями, фото-альбомами и стихами любимых поэтов. Меня поразила подобная безалаберность, и я подумала — как он находит нужный материал или источник в этой невероятной свалке?

Но очень скоро я убедилась, что у него был свой, особый порядок в этом беспорядке. Почти с закрытыми глазами, по какой-то интуиции, он мог вытащить из любой кучи бумаг нужный материал. Помогала ему и совершенно исключительная память. Почти безошибочно он мог восстановить по памяти нужный в данный момент текст закона или необходимые материалы дела. И хотя президиумы наших коллегий во все времена

строго требовали от адвокатов представления по всем делам, за исключением спецдел, безусловно составленных досье, Брауде никогда и ничего не представлял, и никто не смел потребовать у него, зная его собственный стиль работы и его колючий характер.

Брауде попросил меня подробно рассказать о семье, о Герцеле, о деятельности отца до и после советизации Грузии и особенно детально обо всем, что произошло с момента ареста Герцеля — с 25-го апреля 1938 года до вынесения приговора отцу и Хаиму. Во время моего рассказа Брауде и пяти минут не смог усидеть на месте. Он ходил вокруг стола, шарил в бумагах и делал какие-то заметки.

Иногда мне казалось, что он не слушает меня, занят чем-то другим, но неожиданно заданный вопрос или вставленное замечание убеждало, что он отлично улавливал все сказанное. Когда я дошла до приговора, голос у меня вдруг сорвался и из глаз потекли слезы.

— Хватит! — закричал Брауде и вышел из кабинета.

Через несколько минут он вернулся вместе с женой Евгенией и, представив меня, сказал:

— Вот она, та, о которой я тебе вчера рассказывал.

Евгения Григорьевна с большой теплотой выразила мне сочувствие и пригласила нас к завтраку. Бледная, болезненная женщина, она редко выходила из дому. У них была дочь Нора, шестнадцати лет. Брауде ее обожал и сильно страдал оттого, что и она болезненная, нервная и часто впадает в депрессию. Но подлинным несчастьем в семье был старший сын — алкоголик и бездельник. Вечно пьяный, он то и дело попадал в разные отделения милиции Москвы, но как только там узнавали, что он сын Брауде, — его моментально освобождали, к большой досаде отца.

Вернувшись в кабинет, Брауде стал рассказывать о своем старшем брате, профессоре, японоведе, который прожил в Японии 12 лет. Как "японского шпиона" его расстреляли в конце 1936 года.

Потом стал показывать альбомы с фотографиями. Вот его родители, близкие, которые погибли от рук

петлюровцев. Затем идут фотоснимки отдельных эпизодов погромов на Украине – страшные памятники деятельности антисемитов. Он быстро отбирает у меня этот альбом, заметив, как действует на меня вид убитых и искалеченных людей, и дает другой.

Здесь запечатлена почти вся жизнь Брауде – его выступления на многих известных процессах. С одной фотографии смотрит очень красивый молодой человек в форме офицера царской армии, глаза которого чем-то напоминают глаза Брауде. Он улавливает мой взгляд и с грустной улыбкой говорит:

– Ты, наверное, думаешь, как я из этого красивого офицера превратился в старого еврея?

И вдруг я поняла, почему у этого стареющего человека, с таким громким именем и такого известного во всем Советском Союзе, такая грусть в глазах. И в прошлом, и в настоящем он был, по существу, очень несчастным человеком.

Брауде считал необходимым, не дожидаясь получения жалобы и прибытия дела, постараться немедленно попасть на прием к председателю Верховного суда СССР И. Т. Голякову и рассказать ему обо всем, обрисовать ситуацию. По его мнению, это должно было создать нужную атмосферу для его вмешательства.

Он дал мне записку к заведующему коллегии, в которой он состоял, и просил принять и оформить на его имя производство в порядке надзора дело Давида и Хаима Баазовых. Мне же он велел немедленно сообщить сведения, полученные из Тбилиси, и до понедельника составить ему хронику жизни отца. Прощаясь, он сказал:

– Я сделаю все, что в силах сделать адвокат, еврей и друг вашей семьи.

Следующие два дня – пятницу и субботу – я провела в Верховном суде СССР. Тогда сравнительно легко можно было без специальных пропусков подняться на лифте на IV этаж, где находились и канцелярия, и кабинеты членов Верховного суда, и приемная самого



Голякова (впоследствии, когда Верховный суд перешел на улицу Воровского, попасть туда было невозможно без специального разрешения из приемной, которая находилась в отдельном помещении).

Кого записывать и кого не записывать на прием к Голякову, решает старший секретарь Верховного суда, Кудрявцев, очень высокий человек с холодными серыми глазами. Пропускает он в основном тех, у кого имеется на руках жалоба в порядке надзора по общеуголовным делам и кто просит истребовать дела, по которым приговоры вступили в законную силу и один из заместителей Голякова уже отказал в просьбе.

Мне он решительно отказал.

— Ваше дело затребовано по вашей телеграмме. Оно еще не прибыло. Нет основания записывать вас к председателю.

Несмотря на его отказ, я торчу в коридоре, вживаюсь в обстановку. Откуда только не приехали люди с надеждой, и уходят разочарованными. Сколько горя, сколько слез! Многие из Тбилиси, среди них подавляющее большинство по политическим делам. Почти у всех на руках письменный отказ одного из заместителей Голякова: "За неимением оснований в истребовании дела, отказать". В основном это люди, получившие из спецотдела Прокуратуры Грузии открытки с коротким уведомлением: "Ваш сын, муж, осужден и сослан без права переписки".

В отличие от 1938 года, в атмосфере Верховного суда чувствуется некоторое потепление и обращение с "врагами народа" уже несколько иное. Люди в коридорах убеждают друг друга, что прошлое кончилось.

В воскресенье, рано утром, неожиданно позвонил Брауде и тотчас велел приехать к нему. Через 40 минут я была у него дома. Он казался возмущенным и взволнованным. Оказывается, накануне вечером к нему приехал его приятель, советский еврейский писатель Виктор Финк, вместе с Венъямином Элигулашвили, стар-

шим братом осужденного Рафо, и просил принять ведение дела последнего. Озабоченный судьбой Давида, Брауде решил прощупать позицию Элигулашвили и попросил Венямина ознакомить его с делом брата.

Венямин выложил перед Брауде кучу документов и материалов, подтверждающих, по его мнению, преданность Рафо партии и правительству и его давнишнюю борьбу против "баазовщины". Это были копии старых заявлений Рафо в высшие партийные органы против Баазова.

Возмущенный Брауде объяснил Венямину, что такое рвение вырыть Д. Баазову могилу глубже той, в которой он уже стоит одной ногой, быть может, и будет способствовать его окончательной гибели, но ни в коей мере не спасет Рафо. И чтобы дело Рафо не попало в руки какого-нибудь адвоката, который легко может пойти на поводу у Венямина и стать на позиции, опасные для самого Рафо, Брауде посоветовал им поручить дело Н. В. Комодову, с которым тут же в их присутствии связался и уговорил принять дело.

— Теперь, — закончил Брауде свой рассказ, — они сидят у Комодова, и когда он их отпустит, то позвонит мне, и мы встретимся с ним в ресторане гостиницы "Метрополь".

С писателем Виктором Финком я не была знакома. Знала лишь, что он в приятельских отношениях с Герцелем, раза два приезжал в Тбилиси по приглашению ГрузОЗЕТа\*, когда председателем правления был Рафо (оттуда, наверное, и такая дружба между ними), и то ли написал, то ли собирался написать очерк о поселениях грузинских евреев в Колхидской низменности, которые тогда осуществлял ГрузОЗЕТ.

Я не знаю, каковы были его истинные намерения, когда он шел к Брауде.

Венямин же вовсе не удивил меня. В 1926 году еще студентом он вступил в основанную Герцелем

---

\* ГрузОЗЕТ – Грузинское общество землеустройства еврейских трудящихся.

корпорацию "Авода" и, казалось, больше всех горел сионистскими идеалами. Но скоро, с изменением погоды, в нем погасла всякая идейная искра, и вслед за братом он принялся делать карьеру.

Около двенадцати позвонил Комодов и сказал, что выезжает в "Метрополь". Мы с Брауде взяли машину и поехали туда же.

Комодов полностью согласился с Брауде, что обострение противоречий между позициями осужденных пагубно отразится на деле в целом.

Комодов уверял, что действительно наступил коренной перелом в осуществлении правосудия, что, по его словам, связано с приходом Берии, и он не сомневается в отмене приговора или в его смягчении. Он очень хвалил Голякова, с которым находился в большой дружбе.

К нашему столу подсаживается приятель Брауде, очень популярный в то время в Москве эстрадный артист — конферансье, высокий и толстый Михаил Гаркави. Он сразу забрасывает меня вопросами: правда ли, что Лаврентий Павлович очень образованный человек? Что он большой любитель литературы и искусства? Правда ли, что он особенно покровительствует писателям, артистам?

На какое-то мгновение перед моими глазами ожили лица многих моих друзей, писателей, людей замечательных, близких и далеких, лицо Герцеля, и "тот", мой двойник, которого я загнала в себя глубоко, на дно души, вдруг хватает меня за горло. "Посмеешь ли ты похвалить этого убийцу с светло-зелеными, змеиными глазами?!"

— Говорят... — коротко отвечаю я.

В понедельник, 12 апреля, с утра я в Верховном суде. Решила любым способом обойти Кудрявцева и проскочить к Голякову. В коридоре сразу сталкиваюсь с родственниками Элигулашвили, приехала также жена Рамендика.

Веньямин плохо скрывает чувство неловкости, уверяет меня, что в первую очередь он озабочен судьбой Давида и что он уже встретился с большими людьми, которые обещали вмешаться в это дело.

Жена Рамендика, старая женщина, плохо слышит, и с ней трудно говорить. Веньямин сообщает, что она не взяла адвоката, потому что надеется на свою сестру — известного физиолога академика Лию Штерн. Она молча сидит рядом со мною в коридоре и нежно поглаживает меня по голове.

Голяков начнет принимать только после 12 часов. Поговорив, тбилисцы расходятся. Сажу в коридоре напротив приемной. Двери в приемную открыты, и я могу наблюдать за Кудрявцевым, который уже рассаживает у дверей Голякова записанных на сегодня. Прием начался. Пропуская очередного просителя, Кудрявцев запирает за ним дверь и ключи кладет в карман.

Прошли уже два или три человека. Вызванный звонком, Кудрявцев заходит в кабинет, выносит оттуда множество папок, затем запирает за собой дверь. Проследив за ним глазами, вижу, как он на лифте поднимается вверх, в Прокуратуру СССР.

Спустя несколько минут я скорее почувствовала, чем увидела или услышала, как внутри кабинета кто-то собирается открыть дверь. Мгновенно я очутилась у входа в кабинет, и кто-то, выходящий оттуда, шарахнулся, когда я стрелой влетела в открытую дверь. Я так сильно хлопнула дверью (специально, чтобы замок закрылся изнутри), что Голяков из дальнего угла, где он сидел за большим столом, оглянулся и с недоумением посмотрел на меня.

Стоя еще возле дверей, я с таким отчаянием в голосе крикнула: "Я дочь приговоренного к смерти человека, вы должны выслушать меня!" — что он даже привстал и жестом пригласил подойти к столу и сесть.

Заметив, что у меня в руках нет ни жалобы, ни заявления, спросил:

— В чем дело? Расскажите.

— Я понимаю ваше состояние, — выслушав, сказал он, и в его голосе я почувствовала теплоту, — вы же юрист и понимаете, что приговор, вынесенный при таких обстоятельствах, как вы утверждаете — если только это соответствует действительности — не должен оставаться в силе.

— Но отец страдает тяжелым заболеванием сердца и долго в камере смертников не выдержит, — взмолилась я, — материалы сначала пойдут в бюро переводчиков. А ведь вы же знаете, что протоколы судебных следствий по грузинским делам в Верховном Суде СССР переводятся на русский язык. Потому прошу вашего распоряжения, чтобы дело с переводом как можно быстрее дошло до вас.

— Дела о высшей мере вообще идут вне очереди, — говорит он. — Обещаю, что ваше, как только поступит, не задержится ни одного дня в бюро переводчиков, — и он делает какую-то пометку на бумаге.

— Кстати, кому вы поручили все вести здесь? — спрашивает он, уже вставая.

— Материалами отца и брата занялся адвокат Брауде. Но в деле будет участвовать также и Комодов.

— Отлично, — сказал Голяков, — разберемся.

У двери я подумала, что, наверное, сейчас налетят на меня, как волки, те, которых я опередила в очереди — ведь я просидела у Голякова не менее полутора часов — и, быстро открыв двери, стремглав побежала к лифту.

Вернувшись вечером домой, я нашла пакет с жалобой в порядке надзора. По словам Доци, утром какой-то грузин, который не захотел назвать фамилию, принес пакет и просил передать мне.

Через час я отвезла жалобу Брауде домой. Когда он прочел, сказал:

— Молодцы грузинские ребята. Написано очень смело и обоснованно. Московские адвокаты более пугливые.

По нашим подсчетам получилось, что Брауде получит возможность начать знакомиться с материалами процесса в лучшем случае не ранее чем через две недели, если дело прибывает в ближайшие дни. Поэтому мы решили, что я снова начну добиваться приемов у прокуроров высокого ранга по делу Герцеля.

И снова началось мучительное хождение снизу до самого верха — до главного военного прокурора Грозовского.

Наконец добираюсь до Грозовского. Секретари, "военные девушки", предупредили: "Подайте жалобу, долго не задерживайтесь!" Это предостережение меня вдруг повергло в такое отчаяние, что, подавая жалобу Грозовскому, я почти онемела.

Он читал мою жалобу, крик моей души, мольбу о спасении невинного человека, моего Герцеля. Добавить что-либо устно, кажется, было невозможно.

— Хорошо, — сказал он, — истребуем, проверим, -- и при мне наложил резолюцию на мою жалобу.

Но, увы! Не прошло и двух недель, как его самого посадили. Потом я обратилась к первому заместителю Вышинского — Рогинскому, к которому я попала с помощью Брауде сравнительно легко. Повторилась та же история: обещание истребовать дело, проверить, опротестовать, а через несколько дней арестовали и Рогинского.

Волна арестов, прокатившаяся весной 1939 года по верхним этажам Прокуратуры, в народе воспринималась как возмездие за безвинно арестованных. Никто не жалел их, зачисляя в "ежовскую компанию".

Теперь Брауде удерживал меня от дальнейших мытарств по делу Герцеля:

— Закончим дело отца и Хаима — и потом займемся делом Герцеля вместе, — настаивал он.

23 апреля, если не ошибаюсь, Брауде получил наконец возможность ознакомиться с делом. С раннего утра до конца рабочего дня он сидел в небольшой комнате слева от коридора, напротив канцелярии. Я все время в коридоре. По уговору, когда Брауде выходит из адвокатской комнаты и направляется к лифту, я иду за ним. Мы заходим в лифт, и там он быстро бросает в мою сумку крохотные листки бумаги. На них Брауде делает записи для составления жалобы. Невозможно запомнить все необходимые данные по такому обширному делу, когда почти весь материал касается отца.

Брауде поднимается в лифте обратно, а я бегу домой, и там мы с Меером расклеиваем на большом листе эти головоломки. Иные совершенно невозможно прочесть из-за неразборчивого почерка Брауде. Выручает то, что мне хорошо знакомы материалы дела и стиль судебного следствия.

Составленное таким способом досье вечером отношу к Брауде. И так продолжается до конца месяца.

В эти дни часто приходят туда, в Верховный суд, к Брауде московские адвокаты — защитники по делу работников оркестра Большого театра, которое начнется в начале мая. Они встревожены тем, что почти все адвокаты закончили изучение дела, а Брауде, защищающий там главных обвиняемых, еще и не "нюхал" его. Они беспокоятся, как бы это обстоятельство не сорвало начала процесса. Их поражает необычная для Брауде усидчивость по нашему делу.

— Чепуха! — говорит им Брауде. — Если поверят тому, что они говорили на предварительном следствии, их все равно всех расстреляют. А если поверят тому, что выяснится на суде, тогда зачем мне копаться в этом мусорном ящике?

Дни провожу в беготне. Тяжелые ночи. Возвращаюсь вечером, иногда очень поздно. Застаю Меера, погруженного в Библию.

Правда, нам наконец удалось уговорить его выйти на работу, но он возвращается рано и в ожидании моего прихода сидит в углу, не отрываясь от Библии.

Он жадно выслушивает обо всем, что произошло за день. Где я была и кто что сказал. Иногда я преувеличиваю обнадеживающие сведения.

Мы сидим далеко за полночь и тихо разговариваем. Потом он располагается на трех жестких стульях не раздеваясь — он с первого дня отказывается ложиться в постель, пока папа "там", — и прикрывается своим пальто. Иногда во сне он стонет...

Когда в квартире тихо и темно, мне становится страшно. Мне кажется, что я совсем не сплю. Но, очевидно, иногда дремлю, и тогда сразу слышу стук в дверь и вижу темную камеру. Я с ужасом вскакиваю и усаживаюсь у окна, стараясь бодрствовать. Странно — утром я выезжаю в город, совершенно не чувствуя ни усталости, ни желания спать.

На майские праздники Брауде закрылся дома и приступил к составлению жалобы. Я приезжаю к нему по вечерам и забираю написанную часть, чтобы отнести ее машинистке, которой он доверяет печатать материалы по секретным делам.

К пятому мая жалоба готова. Одну ее копию Брауде дает мне на хранение. Жалоба была пространная, составленная в очень резких тонах и состояла из трех разделов.

В первом разделе он пункт за пунктом выявлял все процессуальные нарушения, допущенные по делу во время предварительного судебного следствия. Особенно яростно обрушился на Верховный суд Грузии, который "позволил себе допустить неслыханное в судебной практике нарушение закона, осуждая Д. Баазова к смертной казни, в то время как предъявленное ему обвинение не угрожало таким наказанием".

Во втором разделе, анализируя детально эпизоды обвинения Д. Баазова за период до советизации Грузии, он с возмущением писал: "Как мог советский суд



борьбу Д. Баазова в царское время сегодня расценить как контрреволюцию!”

В третьем — останавливаясь подробно на эпизодах обвинения Д. Баазова за период советской власти и упоминая возбужденное им ходатайство для подтверждения правдивости его показаний, он упрекал Верховный суд Грузии: “Как можно было отказать в таком ходатайстве, которое вытекало из всего хода судебного следствия, и признать Д. Баазова виновным в том, в чем он себя виновным не признал?!”

Обжалуемый приговор Брауде в жалобе называет актом беспощадной расправы.

Познакомив нас с жалобой, Брауде рассказывает о ходе “дела оркестра”, очень на шумевшего в те дни в Москве. Он был прав. Не стоило тратить много времени на изучение материалов предварительного следствия. На суде все отказались от данных ранее показаний. А основной свидетель обвинения, уличающий подсудимых на следствии в “антисоветской агитации”, так запутался в перекрестном допросе, что буквально на глазах из главного свидетеля превратился в главного клеветника. Когда он, давая показания, случайно наступил неловко на конец доски перед свидетельской кафедрой и доска, подскочив, ударила его другим концом по голове, Брауде бросил реплику: “Доска знает, кого бить!” В зале раздались аплодисменты. А на второй день в стенгазете Большого театра появилась статья под жирным заголовком “Доска знает, кого бить”, в которой столпа обвинения по “делу оркестра” называли своим именем.

14 мая в час ночи позвонил Брауде и сказал, что только что звонил ему Комодов, который сообщил о возвращении дела в Верховный суд. Потом добавил: “Заключение в нашу пользу”.

Через 10 минут он снова позвонил.

— У меня завтра начинаются прения сторон по делу оркестра и отлучиться я не могу. Постарайся попасть к

”нему”. Очень важно, чтобы дело попало на ближайшее заседание.

Я сразу поняла, что мне следовало завтра попасть к Голякову и просить его внести протест на ближайшее заседание Судебной коллегии (Брауде все время опасается изменения состава коллегии).

Рано утром я одной из первых предстала перед Кудрявцевым, который уже еле выносил меня.

— Запишите меня на прием. Мне надо предъявить важные документы, — наврала я.

К моему удивлению, не говоря ни слова, Кудрявцев вносит меня в приемный лист первой. Наверное, он решил, что все равно ”она проскочит”, как тогда, — так уж лучше пустить по-хорошему.

Голяков приехал только к двум часам. Я вошла первой. Он встретил меня очень приветливо, как старую знакомую.

— Я получил от вашего отца из камеры смертников телеграмму в 200 слов. У вас очень умный отец, — сказал он и добавил: — и духом сильный.

Слова Голякова так взволновали меня, что я вдруг забыла, зачем пришла. Как он сумел ”оттуда” дать телеграмму и что он написал такого, что произвело на Голякова впечатление ”умного и сильного” человека? Узнаю отца!

— Брауде, очевидно, сказал вам, что приговор будет опротестован, — заметил он, видя, что я молчу.

— Но когда это будет? — взмолилась я.

— Я вам обещал ускорить производство дела. Рассмотрение протеста назначено на ближайшее заседание Судебной коллегии. Вы понимаете, что гарантировать принятие протеста я не могу, но надеюсь, что он не будет отклонен.

— Когда это будет? — снова отчаянно проговорила я.

— Потерпите еще. До 18-го осталось немного времени.

— Значит, 18 мая? — И чтобы не разрыдаться, быстро поблагодарив, выбегаю из кабинета.

Итак, осталось меньше чем три дня. Но нам с Меером эти три дня и ночи кажутся бесконечными. Дома всех охватило необычайное волнение.

Особенно тяжелой оказалась ночь с 17-го на 18-е. Меер всю ночь просидел за Библией. Не спит и Доця. Голяков сказал: "Потерпите, осталось немного". Но что такое время? Помню, я у какого-то психолога читала, что перед смертью человек видит всю пройденную жизнь. Не знаю, насколько это верно, но невольно думаю: сколько таких "мгновений расставания" пришлось папе пережить за сорок восемь суток!

Считаю минуты, часы, дни, недели. Потом цифры путаются, и начинаю сначала...

Утром 18 мая у Меера собрались друзья, которые еще остались у нас, и родственники Доци. Приехал из Ленинграда мой муж. В эти два месяца он бывал только по воскресеньям, а сегодня — пятница. Он опасается — мало ли что может произойти. Все возможно. И возможно, протест будет отклонен. Он уже не такой оптимист, каким был весной 1938 года, когда взяли Герцеля.

Хотя я знаю, что заседание Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР закончится не рано, но какая-то сила тянет меня, и я с утра выезжаю туда. Бесконечное число раз выхожу на улицу, потом поднимаюсь обратно. Иногда мне кажется, что я окончательно отупела. Никаких ощущений. Раза два приезжал Брауде, заметно нервничает. Проходит время, уже 3 часа. Потом 4, потом начинает казаться, что это никогда не кончится, и я, наверное, не выдержу.

Вдруг поднялся какой-то шум. Я очнулась и вижу перед собой Кудрявцева. Окружающие меня обнимают и целуют.

— Постановлением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР приговор Верховно-

го суда Грузинской ССР от 2 апреля 1939 года отменен и дело направлено на дополнительное расследование... —

— Вот теперь мы можем избавиться от вас! — уже смеясь, говорит он.

— Нет еще!

— Что еще?

— Отправить "молнию" начальнику тюрьмы в Тбилиси, чтобы отца немедленно перевели из камеры смертников.

— Это верно, — говорит Кудрявцев и тотчас отдает распоряжение.

Рабочий день кончился, но задерживают машинистку, курьера... Телеграмма отпечатана, курьер направился на почту.

Я звоню Мееру. Там раздаются крики радости.

Потом вслед за курьером направляюсь на улицу Горького на Главный телеграф и даю маме "молнию".

Получив квитанцию, я вдруг почувствовала, как у меня задрожали руки, колени. Не могу двинуться. С трудом преодолеваю непонятную слабость, охватившую меня, выхожу на улицу, беру такси и еду домой.

Последнее усилие — и я в комнате. Меер обнимает меня. Кто-то плачет, кто-то смеется, а я — куда-то проваливаюсь...

— Уложите ее спать, — издали доносится голос Доци.

Когда я проснулась, у изголовья сидел свежесбрированный Меер.

— Ну и выспалась ты!

— Сколько я спала? — спрашиваю.

— Ровно двое суток, — ответил Меер.

Когда я встала, оказалось, что у меня все лицо и тело покрыты коричневыми пятнами.

— Слава Богу, это очень хорошо, — сказал наш приятель-врач.

Домой в Ленинград я вернулась лишь после того, как Брауде получил возможность ознакомиться с протестом Голякова и определением судебной кол-

легии Верховного суда СССР. По словам Брауде, как протест, так и определение почти полностью соглашались с основными доводами его жалобы по части обвинения отца, а что касается Хаима, то о нем в определении имелась лишь одна фраза: "конкретно укажите, в чем обвиняется Х.Д.Баазов". Таким образом, смысл и характер всего определения давали основание рассчитывать в будущем на благоприятный исход дела, поскольку весь собранный по делу материал был признан некачественным и недостаточным, а возможность теперь, при доследовании, добыть материал, хоть в какой-то степени подкрепляющий обвинения, полностью исключалась.

Наши надежды подкреплялись еще и широко циркулирующими слухами: кошмар 1937–1938 годов кончен, все изменится теперь к лучшему. Эти предстоящие изменения связывались с именем нового министра ГБ – Л.Берия.

Отмена приговора с предрешающими исход дела указаниями и слухи о коренном переломе вселяли надежду и на то, что мне удастся добиться пересмотра дела Герцеля. Из материалов отцовского дела явствовало, что Герцеля обвиняли примерно в том же, что и отца. А в этот период – в 1939 году – сионизм еще не относился к категории "опасных и тяжких" преступлений.

Сейчас мне необходимо было подумать о работе, чтобы поддержать оставшихся в Тбилиси близких людей. Теперь мне можно было без опасений вернуться к профессиональной деятельности, и я решила поступать в Ленинградскую областную коллегия адвокатов. Оказалось, что это очень сложно – прием адвокатов в Ленинградскую городскую коллегия был давно закрыт. Вновь принятых направляли в какую-нибудь далекую глушь Ленинградской области, а для меня, в моем положении, это было абсолютно неприемлемо. И тут на помощь пришли Брауде и Комодов. Им удалось убедить председателя Президиума Ленинградской областной коллегии Козлова сделать

для меня исключение, на том основании, что я якобы нуждаюсь в руководстве опытного адвоката для перестройки с грузинского законодательства на российское. Хотя, по существу, между законодательством РСФСР и других союзных республик, за исключением языка и нумерации статей, никакой разницы нет. Козлов, считавшийся с авторитетом Комодова и Брауде, поставил вопрос на президиуме: Члены президиума, в большинстве евреи, не возражали против принятия еврейской девушки из Грузии, которая попала в Ленинград в связи с замужеством. Меня направили в Центральную коллегия на Невском проспекте. Ведущим криминалистом там считался старый, опытный адвокат Николай Успенский, который по просьбе старых друзей — Комодова и Брауде с готовностью взял надо мной шефство.

В моей коллегии 90 процентов адвокатов — евреи. Большинство из них — старые дореволюционные адвокаты. Из молодых своим дарованием и эрудицией выделяется адвокат Я.С.Киселев. Мой шеф, Н.Успенский, прославленный еще в дореволюционной России, и теперь один из самых популярных адвокатов в Ленинграде. Он с исключительным тактом и вниманием относится ко мне. В то время ленинградская адвокатура в своей общей массе разительно отличалась от московской — интеллигентностью, высокой культурой и выдержкой.

Хотя и считалось, что буря утихла, но кругом все замкнута, насторожены и избегают разговоров о политических арестах. Подавляющая масса дел, поступающих в коллегия, распределяется заведующим между адвокатами в зависимости от специальностей. В отличие от Тбилиси, сюда редко поступают персональные требования на адвокатов. Поэтому все адвокаты нагружены более или менее одинаково. Также в отличие от Тбилиси, здесь нет такого множества шумных и громких дел. В основном поступают мелкие гражданские, трудовые дела; уголовные же дела относятся большей частью к категории частного обвинения (оскорбления,

побои, соседские ссоры и т.д.); эти дела, порой сложные, всегда неинтересны.

Политические дела к нам почти не попадают. Адвокатов по ним назначает Президиум областной коллегии по специальному списку, куда входят особо проверенные члены партии города и области.

Коллеги, встретившие меня тепло и сердечно, стараются быть мне чем-нибудь полезными — знакомят с условиями местных судов, снабжают специальной литературой. В то же время они не скрывают, что их удивляет моя странная подавленность и полное нежелание принимать участие в общественных мероприятиях.

Никто здесь не знает о моей двойной жизни. Они видят, что за мной часто заходит муж — интересный молодой человек, общительный и располагающий к себе, успевший установить дружеские отношения со многими из моих коллег. Они видят, что он заботлив и внимателен ко мне, и еще больше недоумевают.

В свою очередь, меня поражает в этих одаренных, образованных и интеллигентных людях отсутствие всякого национального начала. Они сами не замечают, до какой степени стараются быть, несмотря на свои еврейские фамилии, еврейские лица, еврейские манеры, советскими интеллигентами. И вообще стремятся отречься от всего еврейского в себе, позабыть навсегда, что они евреи.

Почему там, в Грузии, очень многие друзья-грузины видели в трагедии нашей семьи не только большую человеческую боль, но и попрание великого национального чувства? А здесь, в Ленинграде, среди друзей моего мужа, среди множества известных адвокатов, кажется, не найти человека, который от этого бушующего огня почувствовал бы ожоги на собственном сердце.

Есть, конечно, исключения. Есть набожно собирающий еврейскую старину Пульнер в этнографическом музее Ленинграда; есть любящий и изучающий еврейскую литературу Ильевич в Публичной библиотеке. Но их мало, единицы, а этих сколько!... Сколько их,

блестящих, одаренных, готовых все отдать другим, только бы позабыть свое лицо!

Я целиком ушла в работу. Надо работать, чтобы содержать родных в Тбилиси. Надо работать, чтобы пережить время до окончания доследования дела и начала нового процесса.

Лица заточенных братьев и отца заслоняют перед моим взором весь мир. Постоянно, и во сне, и наяву, они преследуют меня, у них в глазах безнадежная тоска и мольба о помощи...

В июне и в июле в Ленинграде бывает душно. Южанам труднее выносить короткое и влажное ленинградское лето, чем долгое, но благоуханное и сухое грузинское.

После перенесенного нервного шока беготня по судам, напряженная работа и постоянная бессоница подорвали мое здоровье, и я заболела.

Муж мой, который вначале обрадовался моему возвращению к профессиональной деятельности — он надеялся, что это поможет мне прийти в "норму" — теперь вдруг самым категорическим образом потребовал, чтобы я на месяц поехала с ним в Сочи для лечения и отдыха.

Для того, чтобы убедить меня, он нажал на всех своих и моих родных. И добился своего.

Меер из Москвы звонит и уговаривает; мама в письмах из Тбилиси умоляет считаться с мужем, который в такое тяжелое для нашей семьи время проявил такую преданность.

В те дни в Ленинграде гостил Комодов; муж и у него нашел поддержку: Комодов самым решительным образом заявил мне, что я обязана "встать на ноги", если не хочу предать всех близких.

В конце концов, чувствуя правоту мужа, я уступила, хотя вначале мне это представлялось невозможным. Как? Они "там", а я на курорте!

Муж достал на август месяц четыре путевки в пансионат "Ривьера" в Сочи, списался с моей мамой в Тбилиси и попросил отправить Полину в назначен-



ный день поездом до Сухуми, куда он прилетит из Сочи и заберет ее.

Первого августа мы с мужем и его сестрой Ириной выехали в Москву, где задержались на один день, чтобы встретиться с Меером и Брауде.

Исходя из ситуации, Брауде полагает, что в рамках указанного определения Верховного суда СССР следствие по делу отца по существу сведется к простой формальности и будет исчерпано передопросом обвиняемых; поэтому следует ожидать, что оно может быть закончено очень быстро. Обвинение отца состоит не из перечисления деяний, конкретно предусмотренных уголовным законодательством, а из ряда произвольных оценок его личности и его прошлой деятельности. Поскольку в Тбилиси в этих оценках окончательно запутались — то ли в результате нестандартного характера дела, то ли вследствие перемены погоды в Москве, — следствие постарается не особенно углубляться, чтобы поскорее избавиться от него.

Он заверил нас, что при любых обстоятельствах поедет в Тбилиси защищать отца и Хаима в Верховном суде и будет все время держать связь с тбилисскими адвокатами, которые там неустанно наблюдают за ходом следствия.

2 августа мы приехали в Сочи. Устроив меня и Ирину на "Ривьере", муж в тот же день вылетел в Сухуми, где 3-го утром встретил Полину и прилетел обратно вместе с нею.

В тот период роскошный курорт Сочи еще не был переполнен и перегружен "дикими" или "неорганизованными" отдыхающими. Общая нужда, нехватка продуктов питания в государственной торговой сети не позволяли широким слоям населения проводить лето частным образом на подобных курортах. Но зато все санатории и дома отдыха постоянно были переполнены. Весьма благоустроенные и роскошные ведомственные закрытые санатории, как, например, санаторий Наркомтяжпрома, военный и другие, обслуживали

лишь военных и партийных работников очень высокого ранга. Рабочие — стахановцы и ударники со всех концов Союза получали — бесплатно или на очень льготных условиях — путевки в дома отдыха и санатории сети ВЦСПС. Но эти учреждения, гораздо ниже стоящие по качеству обслуживания и питания, были вечно переполнены и не вмещали даже малой части желающих туда попасть.

Пансионат "Ривьера" тогда принадлежал курортному управлению и, хотя стоимость путевки там была очень высокой, он зато отличался свободным режимом и хорошим обслуживанием. В основном здесь отдыхали люди свободных профессий — писатели, артисты, художники, врачи. Подавляющее большинство отдыхающих — русские евреи из Москвы, Ленинграда, Харькова, Киева.

Как и раньше, когда мы с отцом и Герцелем бывали на курортах Северного Кавказа — в Кисловодске, Ессентуки, — мы и тут, в Сочи, встретили грузин, не говоря уже о грузинских евреях. В тот период лучшие грузинские курорты, еще не ставшие все-союзными, были не так благоустроены, как Сочи или Минеральные воды, но, по старой привычке, все национальности Грузии отдыхали и лечились там, "у себя", в Боржоми, Цхалтубо, Уцере, Шови.

20 августа я неожиданно получила телеграмму от Брауде, который срочно вызывал меня в Москву. Муж остался с Ириной и Полиной, а я прервала лечение и в тот же день выехала.

В Москве я узнала, что наши тбилисские адвокаты еще неделю тому назад известили Брауде и Комодова об окончании следствия, но Меер и Брауде решили между собой дать мне еще немного времени для восстановления сил. Теперь же необходимо было выезжать в Тбилиси.

Мне пришлось ехать поездом, — достать билет на самолет было невозможно. В Тбилиси я очутилась в конце августа.

Друзья рассказали мне, что следствие было окончено еще в середине августа. Но в Верховный суд дело еще не поступило. Нет его также и в Прокуратуре республики.

Мы уверены, что дело поступит в суд в ближайшие дни. Ждем.

Тбилиси всегда отличался особым, присущим только ему общественным климатом. Общественные события здесь воспринимаются особенно остро и бурно. В отличие от Москвы и Ленинграда, люди здесь не могут замкнуться в семейном и служебном кругах. Широкие родственные, дружеские и общественные связи переплетены так крепко и глубоко, что никто не может остаться равнодушным к событиям общественной или государственной жизни. И хотя здесь чаще и больше, чем в любом другом городе Союза, просачивалась правда из запретного и таинственного мира властей предрежащих, тем не менее мало кто знал истину о работе того дьявольского механизма, которым управлял некто невидимый, и поэтому все неизвестное, все непонятное пополнялось и толковалось слухами, которые неизвестно где зародились и неизвестно какими путями распространялись. Им верили потому, что очень часто они опережали официальные сообщения.

Трудно понять, откуда возникло оптимистическое настроение, царившее в Тбилиси в сентябре 1939 года. Люди открыто говорили о возвращении лиц, исчезнувших в 1937—1938 годах. Утверждали, что все сосланные "без права переписки" содержатся в специальных закрытых лагерях, где выполняют секретную работу, по окончании которой будут освобождены с наградами; даже называли места на крайнем Севере.

А тут еще вернулся кое-кто из тех, кто неожиданно исчез два года назад: академик Ш.Нуцубидзе, академик Каухчишвили, Сережа Кавтарадзе... И семьи репрессированных, и семьи их друзей проникаются

верой, они начинают ждать своих близких или хоть вестей от них.

Все чаще распространяются слухи... Все чаще говорят и называют имена, такой-то вернулся в такой-то город или деревню – и он видел в лагере и "его" – или "ее".

Люди верят слухам... Люди жаждут... Люди ждут...

Надеждой охвачен и наш дом. Мама до такой степени верит в неожиданное появление Герцеля, что у нее один глаз постоянно косит в сторону двери. Когда подходит почтальон, она говорит: "Это от Герцеля". Если кто-нибудь ночью, в неурочное время стучит в дверь, она вздрагивает и кричит: "Герцель вернулся!"

Да и меня, когда я прохожу по некоторым местам Тбилиси, вдруг охватывает ощущение... да нет, я ясно вижу, как из-за угла здания выходит Герцель в сером костюме и серой шляпе, которые он носил в апрельские дни в Ленинграде. Сердце вдруг замирает... я останавливаюсь... видение исчезает.

Наши надежды и мечты в сентябре превратились чуть ли не в уверенность. Однажды вечером, когда мы с мамой и Полиной вернулись домой, бабушка, дрожа от волнения, рассказала, что приходил какой-то "гой", который вернулся из очень... очень далеких краев, и что в одном из тамошних лагерей он встретился с Герцелем. "Гой" вернулся недавно и сказал, где живет; бабушка, боясь не запомнить по старости, попросила его написать свое имя и местожительство на бумаге. Она дает нам клочок бумаги, на котором по-грузински написано два слова: "Икалто, Георгий".

Мы чуть с ума не сошли от радости...

Всего клочок бумаги... два слова, написанные чужим, неизвестным человеком, теперь воплощают в себе все наши мечты, весь смысл существования.

Опомнившись, пытаюсь уяснить себе, как понять слово "Икалто". Что это – улица, находящаяся где-нибудь в пределах Тбилиси, или деревня Икалто, которая

находится в Кахетии, в Телавском районе, и известна древней академией, основанной там в XI веке Арсеном Икалтийским?

В который раз умоляем бабушку: "Вспомни, как он сказал — Икалто — деревня или улица?"

Но больше ничего узнать от нее не удалось.

Для начала решили установить, есть ли в Тбилиси улица с таким названием. Мы с двоюродным братом обошли все райсоветы, все почтовые и милицейские отделения, мы просто спрашивали людей, но так и не обнаружили улицы Икалто.

Решили ехать в Кахетию: до Телави поездом, оттуда пешком. Пришли в сельсовет, спрашиваем "вернувшегося Георгия". Нам говорят, что в 1937 отсюда забрали многих Георгиев, но никто из них еще не возвращался.

Собралась толпа колхозников. Узнав причину нашего приезда, многие включаются "добровольцами" в поиски "Георгия" и принимают в них самое деятельное участие. Мы обошли все местечко и его окрестности. На окраине деревни молодой парнишка сказал, что в деревне рядом освободили какого-то арестованного Георгия. Пошли туда всей толпой. Георгий оказался маленьким воришкой, которого в Тбилиси задержала милиция и через два месяца освободила за недоказанностью обвинения. Он был крайне удивлен нашим к нему интересом.

К вечеру мне стало ясно, что я гоняюсь за призраком. Измученные и оступевшие, мы на второй день вернулись в Тбилиси.

В конце сентября в спецпрокуратуре Грузии мне официально подтвердили, что следствие по делу отца закончено, но дело в суд не пойдет, так как его направили в Москву в МГБ СССР. В "ОСО".

Над делом снова опустился таинственный покров. Надо было ехать обратно в Москву.

До конца 1938 года люди со страхом и трепетом произносили слова "тройка". Никто не знал, что она из себя представляет, из кого состоит, когда, где и каким образом решается там судьба человека. В начале 1939 года распространился слух, что "тройка" упразднена, и народ с облегчением вздохнул. Слава Богу! Отныне дела будут рассматриваться в судах и военных трибуналах. И это казалось милостью судьбы, хотя немало смертных приговоров вынесли в 1939 году и Верховный суд, и Военный трибунал.

Теперь появилось новое – "ОСО", особое совещание. И опять никто не знает, что оно из себя представляет. Ведь не существовало никакого "Положения об ОСО", обнародованного в надлежащем порядке.

Московские адвокаты утверждают, что особое совещание при МГБ СССР состоит из 30–40 человек. Кто эти люди – неизвестно. Оно собирается раз в месяц и на нем неизменно председательствует Л. Берия. Потолок для ОСО – восемь лет лишения свободы. Но все это были разговоры, слухи.

Направление дела отца в ОСО Комодов и Брауде считают и хорошим, и плохим симптомом. Хорошим потому, что это говорит об отсутствии почвы для обвинительного приговора. Плохим потому, что ОСО, свободное от всяких правовых критериев, даже при полной несостоятельности обвинения, может осудить обвиняемого, если его физиономия им не понравится.

Сейчас оба они решительно удерживают меня от хлопот по делу Герцеля.

– Надо подождать, пока будет разрешено дело отца. Положительный исход по этому делу повлияет благоприятно на судьбу Герцеля, так как одно дело тесно связано со вторым, – советует Комодов.

– Закончим дело отца и Хаима и вместе возьмемся за дело Герцеля, – настаивает Брауде.

В ОСО дело может находиться месяцами... И снова надо ждать... ждать. Возвращаюсь домой, в Ленинград.

30 ноября началась война с Финляндией, и Ленинград погрузился в темноту. Для меня это событие ознаменовалось тем, что в первый же день затемнения, возвращаясь вечером с дежурства в консультации, на углу Невского проспекта и улицы Герцена я оступилась, упала и ушибла ногу. Мне пришлось целый месяц пролежать в постели.

Хотя всю осень газеты шумели о необходимости укрепления безопасности наших границ, никто почему-то не верил, что Ленинграду грозит опасность со стороны Финляндии. И поэтому официальное сообщение, что "провокационные артиллерийские обстрелы нашей территории с финской стороны вынудили Советское правительство принять ответные меры", в Ленинграде никого не убедило; все великолепно понимали, что не "финская реакция развязала войну с Советским Союзом", как сообщалось, а наше правительство решило "отодвинуть" Финляндию подальше.

Вначале всем казалось, что маленькая Финляндия будет сразу же "отодвинута" могущественной армией и "финская кампания" закончится буквально за несколько дней. Но проходили недели, и в Ленинграде все шире распространялись слухи о колоссальных потерях Красной Армии, об исключительном мужестве финнов, ожесточенно сражающихся в условиях необычайно суровой зимы, когда морозы доходили до 40-50°. Знакомые, побывавшие на фронтах, рассказывали чудеса о геройстве финнок, которые предпочитали смерть, но не сдавались в плен русским. Рассказывали, какое огромное количество советских солдат, не подготовленных и не приспособленных к таким суровым условиям войны, погибло в ледовых лагерях, не успев даже принять участие в боях. Но что могла сделать маленькая Финляндия? Могущественный сосед в конце концов все-таки заставил ее "отодвинуться". Шепотом рассказывали друг другу об изумительном поведении финнов при отступлении со своих территорий. Когда советские люди вошли в Выборг, город был пуст. Из живых существ там оставались только кошки.

Шли дни, шли недели, наступил уже 1940-й год. Ни из Тбилиси, ни из Москвы не было никаких известий. Томительное ожидание стало невыносимым. В начале января я снова бросила все дела в Ленинграде и уехала в Москву.

Москва для меня теперь единственное место, где я ощущаю реальность своего существования. Где бы я в этот период ни находилась — в Тбилиси или Ленинграде — Москва, как магнит, тянет меня к себе. Не Москва великолепных театров, не Москва музеев, не Москва писателей и когда-то, до 25.04.1938 г., многочисленных друзей. Москва для меня теперь — это Лубянка, Кузнецкий мост, Пушкинская 15а. Это единственно реальный для меня мир, где должна решиться судьба отца, Герцеля, Хаима и вместе с ними и моя и всей нашей семьи. Отсюда обрушивается тяжкое горе на миллионы людей, здесь творятся страшные эксперименты, непостижимые для современников и фантастически нереальные для будущих поколений.

И снова я простаиваю целыми днями в очередях, чтобы к концу дня услышать из форточки все тот же ответ: "Решения еще нет".

И снова толкаюсь я в этом мире обреченных. Состав людей за эти два года менялся неоднократно, но лица и теперь, как тогда, выражают страх, отчаяние и безнадежность. Считается, что великая буря 1937–1938 гг. отгремела и улеглась. Но участь ее бесчисленных жертв так и не изменилась.

А рядом — большой, бурлящий и ликующий мир, в котором теперь уже не гремят угрозы и требования беспощадной борьбы с врагами народа. Отшумели громкие процессы "врагов народа" и "изменников родины". Прекратились повсеместные митинги по этому поводу. Началась другая кампания. Сейчас от края до края перекатывается огромная волна организованной радости по поводу "расширения братской семьи советских республик".



В сентябре 1939 года 13-миллионное население западных областей Украины и Белоруссии с "великой радостью встретило своих освободителей" от национального и социального гнета. Никто не сомневается, что "братская семья" будет и дальше расширяться. И в то же время рождаются новые анекдоты, лучше отражающие жизненную истину, чем тысячи митингов и резолюций. Ходивший в эти дни по Москве анекдот о президенте Литвы, который торопился переименовать Каунас в "Покаунас", ясно указывал на судьбу, ожидающую страны Прибалтики.

По Европе кровавой поступью шагает Гитлер. А у нас договор о ненападении с Германией. Из рук в руки переходит журнал с огромными фотографиями Молотова и Гитлера. В один из воскресных дней прямо из Берлина транслируется выступление Гитлера. Прикованные к радиоприемникам москвичи в течение двух часов с недоумением слушают иступленные выкрики нашего "союзника".

Находящийся в это время в Москве Риббентроп вместе с гостеприимными хозяевами наслаждается балетом в Большом театре с участием Галины Улановой. Рассказывали, что восхищенный искусством Улановой Риббентроп после спектакля распорядился преподнести Улановой от его имени тысячу белых роз. Но тогда в Москве, в необычайно холодную зиму, в час ночи достать тысячу роз было невозможно. Высокому гостю объяснили с извинениями, что у нас страна социалистическая и все цветочники работают только днем, а сейчас они отдыхают и "вместе с нами" находятся в театре.

В Европе падает одно государство за другим. Немцы уже бомбят Лондон, а Москве кажется, что это происходит где-то на далекой планете, которая не имеет никакого отношения к советской действительности. Никто не рассуждает, никто не высказывает ни тревоги, ни опасения. Есть только идущая сверху бодрая генеральная линия, убеждающая в волшебной силе "мудрого отца", единственного, кто думает и решает за всех нас и которому одному ведомо, как устранить любую

опасность. Советские люди, давно отказавшиеся от Бога, верят только возведенному в ранг Бога безбожнику.

Правда, где-то, в самых глубинных и незримых слоях, ощущалась приглушенная тревога: там думали о неизбежности войны, о низкой боеспособности Красной Армии, обезглавленной в результате чисток 1938 года, лишившейся выдающихся полководцев – Блюхера, Егорова, Тухачевского, Якира и многих других. "Легендарного маршала" Ворошилова и генерала Тимошенко скептики после Финской кампании считали годными лишь для командования парадом. Но кто услышал бы голоса этих "еретиков" зимой 1940 года!

Но почему-то условия работы на предприятиях и в учреждениях делаются более жесткими. "С целью укрепления трудовой дисциплины" Президиум Верховного Совета СССР принимает ряд указов, в числе которых были и пресловутые указы "о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений" и "о нарушении рабочего режима". Опоздание на работу в первый раз до 15 минут влекло наказание в дисциплинарном порядке, а за более длительное или повторное предусматривалась уголовная ответственность с лишением свободы. Разумеется, эти указы "встретили широкую поддержку трудящихся", и, как всегда в подобных случаях, началась широкая кампания по борьбе с нарушителями трудовой дисциплины. Суды всех инстанций были немедленно завалены делами по этим указам. В Ленинграде сотрудница Публичной библиотеки пыталась покончить с собой, приняв большую дозу йода. В записке, оставленной перед этим, она писала, что не может избавиться от привычки опаздывать на работу и поэтому предпочитает умереть, чем оказаться в тюрьме. В Москве прославленный и уже пожилой народный артист СССР Москвин опоздал на 15 минут на репетицию. Директор театра не решился "оформить" дело против Москвина и запросил высшие партийные органы. В результате наказали обоих: Москвина за опоздание, а директора

за то, что он растерялся и не сразу применил закон к "нарушителю".

Москвичи рассказывали анекдот об инженере, которого подвел испорченный будильник. Проснувшись позже обычного, он обнаружил, что времени у него остается только, чтобы доехать до места работы. Он не стал одеваться и, схватив брюки под мышку, побежал в одном белье на улицу. На работу он все равно опоздал. И опоздал изрядно, так как по дороге его на каждом шагу останавливали и спрашивали: "Где вы достали брюки?"

Мне, уроженке Грузии, всегда было трудно выносить московские морозы. Но такой суровой зимы, как в 1940 году, по словам старожилов, в Москве не было давно. В середине февраля термометр показывал ниже 40°. Несколько дней свирепствовала снежная буря.

В такие дни Меер, уходивший на работу в 7 часов, звонил мне оттуда и умолял "не выходить сегодня из дому". Но щадить себя мне казалось кощунством, и я по-прежнему, с обмороженными пальцами на руках и ногах, простаивала целыми днями в очередях — то за справками в МГБ и Прокуратуре, то в магазинах, чтобы достать продукты или промтовары и отправить их в Тбилиси. В этот период продукты и промтовары в магазинах можно было достать только в Москве и Ленинграде; Тбилиси, как и другие республиканские города, почти не снабжался. Правда, на "черном рынке" там можно было купить у спекулянтов абсолютно все. Но это было доступно лишь тем, у кого были "черные источники" заработка.

В Москву за покупками съезжались миллионы людей из всех республик. И приходилось стоять в длиннейших очередях часами, а то и днями. Только и слышно было: "что дают?", "где дают?", "сколько дают в одни руки?"

Для спасения Москвы от разграбления советскими гражданами других республик в Москве запретили отправку продуктовых посылок по почте. Их можно было отправлять только из области, из пунктов, отстоящих от столицы не менее чем на 100 км.

Сколько времени и энергии уходило у меня каждый раз на то, чтобы собрать и отправить в Тбилиси посылку, которая все-таки не могла удовлетворить скромные потребности семьи.

Несмотря на все строгости на работе, моему мужу все-таки удавалось приезжать в Москву на 1-2 дня; он всячески старался подбодрить меня и Меера, и из всех окружавших нас тогда людей это удавалось только ему. Но стоило ему уехать — и нас снова охватывало отчаяние. Мы опять возвращались по вечерам усталые и опустошенные (Меер — с работы, я — из очередей), усаживались на кухне и до полуночи вновь и вновь шепотом пересказывали друг другу печальную сказку нашей жизни или сидели молча, погруженные в одинаковые горькие думы...

В середине марта муж сообщил мне по телефону, что моего шефа, Николая Успенского, беспокоит мое долгое отсутствие; в связи с этим он настоятельно просил меня вернуться домой в Ленинград, с тем, чтобы через некоторое время снова взять отпуск за свой счет.

На второй день я взяла билет на поезд и вечером сообщила об этом мужу.

А на рассвете следующего дня нас всех подняла на ноги "молния" из Тбилиси. Телеграмма была подписана... Хаим.

Хаим на свободе! Радость, слезы, ликование.

Но дальше? Что с отцом? Как остальные обвиняемые по делу?

Из телеграммы, кроме того, что Хаим освобожден, больше ничего вычитать нельзя.

Телефон у Хаима после его ареста сняли, а звонить для выяснения подробностей кому-либо другому — совершенно немислимо.

Необходимо повидать Хаима.

Решаю изменить маршрут и вместо Ленинграда немедленно отправляться в Тбилиси.

Звоню в Ленинград; еще рано, муж дома, я сообщаю ему о "здоровье" Хаима. Не успела я попросить его согласия на поездку в Тбилиси, как он сам опередил меня:

— Я понимаю. Сам Бог велит тебе ехать немедленно в Тбилиси. Постараюсь уладить здесь твои дела.

Вечером мы с Меером бежим на вокзал; за двойную плату удается попасть в международный вагон (в зимнее время они часто уходят полупустые).

Пока кондуктор укладывает мои вещи, я стою в коридоре. В другом конце коридора знакомые, занимающие ответственные посты в сфере культуры. Они делают вид, что не замечают меня, и торопливо входят в свои купе. Когда-то на театральных банкетах некоторые из этих людей щедро изливали восторги по нашему адресу. А теперь они не "должны" замечать меня.

Я вхожу в купе и закрываюсь. Впереди трое с половиной суток. Можно лежать и думать. Думать и гадать — где отец... и что будет дальше?

На четвертый день поезд медленно подходит к Тбилисскому перрону, и на ходу в вагон влетает Хаим.

Потоки слез... Радость встречи, горечь пережитого, угрожающая неясность настоящего... Ведь Герцель и папа еще "там"...

Не дожидаясь моих вопросов, Хаим рассказывает:

— Несколько дней назад нас неожиданно ночью вызвали и объявили, что по решению ОСО, я, д-р Рамендик, Пайкин, Чачашвили и д-р Гольдберг освобождены, а папа и Р.Элигулашвили приговорены к ссылке в Сибирь сроком на пять лет.

Дальнейший рассказ Хаима доносится до моего сознания словно издалека.

Я думаю об отце с его больным, усталым и истерзанным сердцем. Среди воров и убийц этапируют его

по длинным дорогам и пересыльным тюрьмам до далекой Сибири.

Я спрашиваю невпопад:

— В каком состоянии было у него сердце, когда ты с ним расстался?

Он посмотрел на меня со смешанным выражением печали и укоризны и тихо произнес:

— О каком сердце ты говоришь? Где сердце? Оно давно окаменело.

Он вернулся "оттуда", у них теперь иные, недоступные нашему пониманию представления о сердце и душе!

Я жадно присматриваюсь к Хаиму. Как он изменился, как поседел — ведь молодой парень. Характерные искорки в его глазах, всегда излучавшие радость жизни, погасли навсегда. В глубине глаз теперь залегла тяжкая печаль. Но он все такой же живой и неутомимый.

Хаим схватил мои чемоданы, и мы поехали домой.

О своей трудной жизни за последние месяцы мама и Полина ничего мне не писали. А сколько еще пришлось им пережить! Вот мама хромает, с трудом передвигается с помощью палки. Узнаю: месяца три тому назад она стояла во дворе у ворот и услышала, как кто-то с улицы крикнул: "Тюремная машина! В ней Хаим!"

Она выбежала на улицу. Но машина промчалась мимо; Хаима она не увидела, но упала на асфальт и сломала ногу. Она долго пролежала в гипсе. Девочка-подросток, Полина выходила ее одна.

А в это время к ним стали "наведываться"; им угрожали, что "лишнюю" изолированную комнату все равно отнимут и настойчиво предлагали самоуплотниться. Им пришлось вселить в квартиру посторонних людей.

Теперь, после приговора, отец уже не числится за судебными органами, он находится в распоряжении ГУЛАГа. Теплые вещи и дозволенную передачу Хаим передал еще до моего приезда, а полагающееся

единственное свидание нам обещали дать через неделю — в первых числах апреля.

В разрешение на свидание вписали только жену и детей. Никого из близких родственников, даже брата или сестру, не допустили.

В день свидания мы отправились в тюрьму с рассветом, чтобы вовремя занять очередь. Вместе со свиданием разрешали еще небольшую продуктовую передачу. Сперва принимали передачи, а вызов на свидание происходил после проверки продуктов и раздачи их по камерам.

В одном из боковых дворов тюрьмы у разных форточек — длиннейшие беспорядочные очереди, тут и уточненные интеллигенты, и спокойные крестьяне, и базарные торговки, и вопящие родственники воров и убийц.

Начиная с 7 часов утра и до 3-х, каждые 20-30 минут хлопают форточки. Выкрикивают фамилию. Из форточки прямо на землю летят корзины и чемоданы с перемешанными и испачканными, не пропущенными как "недозволенные", продуктами. И каждый раз вслед за этим во дворе раздаются вопли, проклятия и ругань.

Около 4-х часов нас ввели в комнату свидания.

Затхлая, полутемная пустая комната перегорожена густой железной сеткой.

Еще через полчаса мы видим, как из темного коридора два вахтера подводят к сетке опирающегося на палку и уже одетого "по-сибирски" отца.

Вахтеры отходят и становятся в углу.

Вот она — эта первая минута встречи, которой я так страшилась. Прошел ровно год с того дня, как его увели в камеру смертников, и я не знаю, каким он вышел оттуда. Не сломился ли, не надорвался, не пал ли духом? Выдержит ли предстоящие долгие мытарства? Выдержит ли суровую, холодную и голодную жизнь в одиночестве ссылки?

Стараясь разглядеть нас в полумраке, отец прильнул к сетке.

Мы знаем, что свидание будет длиться всего десять минут, и поэтому каждый готовится успеть сказать побольше подбадривающих слов, убедить его, что нам вовсе не страшно, и вести себя так, будто мы пришли проводить его в очередное путешествие.

И вот он стоит перед нами за сеткой, на ржавых колечках которой вдруг заблестели слезы...

В первую минуту мы просто онемели... Но опомнившись, мы все хором начинаем громко заверять его, что добьемся его скорого возвращения и умоляем не тревожиться...

Но странно! Железная сетка как будто отбрасывает к нам все наши шумные и полные оптимизма выкрики. Он не задает ни одного вопроса. Он пристально смотрит на маму и дрожащую от волнения Полину, а затем, глядя в упор на меня, с какой-то непонятной настойчивостью просит: "Вернись в Ленинград! Раз Хаим вернулся, он присмотрит за мамой и Полиной... и за всеми..."

Минуты свидания тают молниеносно... Мы продолжаем все громче воодушевлять его, а он, стараясь перекрыть нас, настойчиво повторяет: "Не задерживайся долго в Тбилиси... и в Москве тоже. Поезжай домой".

Еще звучат слова утешения... но уже подходят вахтеры... поворачивают его... свидание кончилось.

И вдруг мама, уже вдогонку ему, громко кричит: — Давид! Я приеду к тебе в ссылку!

В середине апреля я выехала в Ленинград. В Баку, в Ростове, в Харькове я вижу отогнанные подальше от платформы длинные составы из "стольпинских" вагонов с железными решетками на маленьких окнах. В таких вагонах по длинным и запутанным маршрутам перевозят заключенных. До отхода моего поезда я с замиранием сердца гляжу, не отрываясь, на эти глухие вагоны-гробы.

В одном из таких вагонов скоро отправят отца.



В одном из таких вагонов, очевидно, был отправлен Герцель куда-то на далекий Север...

Иногда мой скорый поезд оказывается почти рядом с таким составом. Два состава, два разных мира. В одном — бездонное человеческое страдание; в другом веселятся строящие "счастливую жизнь", они ничего не знают, ничего не слышат.

До Ленинграда скорым поездом четверо суток. Лежа в своем купе и прислушиваясь к монотонному стуку колес, я опять вижу наяву все тот же длящийся вот уже два года страшный сон!.. Под конец он становится светлее — Хаим вернулся. Да и отец! Что? Разве не бесконечное счастье, что его отправляют в Сибирь? В прошлом году в такие же ночи он сидел в камере смертников. Только сердце от этого счастья не ликует.

И чей-то голос беспощадно корит меня:

— Где твоя клятва — умереть или спасти Герцеля?

Да, настало время, когда надо подчинить все этой клятве. Теперь, не задумываясь, не размышляя, не останавливаясь, надо кинуться в бой за Герцеля.

Мои частые и длительные отлучки начали вызывать толки. Чтобы не бросать тень на мужа, следовало пробыть хоть некоторое время в Ленинграде и "закрепиться" на работе.

Но тут я нехотая заболела острой формой флегмонозной ангины; ленинградский сырой климат был для меня нехорош. Я пролежала в постели около полутора месяцев.

Уже подходит к концу июнь, а от отца все еще нет никаких известий. Из Тбилиси Хаим сообщает, что отца отправили этапом в конце апреля, но точно — когда и в каком направлении, установить ему не удалось.

Ни в Тбилиси, ни в Ленинграде не знают, где отец, в пути еще или уже прибыл на место.

Тревога наша нарастает.

Считаем месяцы, недели, дни...

И вот, в душный июльский день муж неожиданно вошел в зал судебного заседания, где я находилась, и вызвал меня знаком. Он был очень взволнован, но я сразу заметила, что он чему-то радуется. И действительно, он сообщил мне, что, вернувшись с работы домой, застал телеграмму от отца — "уже с места". Не теряя времени, он сразу же перевел ему телеграфно 500 рублей и лишь после этого пришел ко мне. С этими словами он передал мне телеграмму и квитанцию на перевод.

В телеграмме сообщался адрес его ссылки: Красноярский край, гор. Красноярск, село Б/Мурта.

Слава Богу! Доехал живым!

А вечером дома мы с мужем рассматривали карту "Великой Руси" и искали на бескрайней территории Сибири Большую Мурту, где находился сейчас он, одинокий и измученный.

Боже! Как далеко он от нас.

Теперь срочно надо доставать витаминизированные продукты. Потом выезжать в область и оттуда отправлять посылки по почте.

Надолго остается в памяти чувство какого-то странного блаженства, которое испытываешь, когда возвращаешься домой с почтовой квитанцией о приеме посылки. Эта маленькая бумажка снимает усталость, позволяет забыть все мытарства и невзгоды, связанные с этими операциями, а ведь нет уверенности, что твоя посылка, или хотя бы малая часть ее, дойдет до адресата.

В конце июля я снова оформила длительный отпуск за свой счет "для лечения" и, полная решимости добиться пересмотра дела Герцеля, возвратилась в Москву.

События в Европе, которые еще с весны стали разворачиваться с головокружительной быстротой, москвичи воспринимают с любопытством, но без тени тревоги.

После захвата Дании и вторжения в Норвегию была оккупирована Голландия, потом Бельгия. В конце

июня капитулировала Франция. Только Англия, оставшись в одиночестве, обороняется отчаянно.

Судьба Англии вызывает исключительный интерес: удастся немцам вторгнуться на Британские острова и оккупировать их, или все же Англия выстоит?

Но все эти события люди ни в какой мере не увязывают с советской действительностью. Это происходит там — в загнивающем капиталистическом мире — в результате углубления общего кризиса, усиления борьбы внутри империалистического лагеря за новый передел мира”. А у нас — все процветает, усиливается мощь и расширяется ”братская семья”. В начале августа Верховный Совет СССР ”удовлетворил просьбу” стран Прибалтики — Латвии, Литвы и Эстонии и принял их в состав Союза ССР. В Бессарабию и Северную Буковину вступили части Красной Армии. Население сел и городов ”с ликованием встретило своих освободителей”.

Все уверены, что Гитлер проглотит Европу, но не посмеет напасть на Советский Союз. Тем более, что сейчас наши границы отодвинуты далеко на запад и их безопасность укреплена.

В эти дни Москва казалась безмятежной, веселой, ликующей...

А я снова целиком погрузилась в тот, другой мир, бесконечно далекий от ликующей Москвы.

Теперь я все чаще встречаю в НКВД, в Военной или во Всесоюзной Прокуратуре уцелевших жен или матерей тех, кто был репрессирован в Тбилиси в 1937-1938 годах. Тогда, при Ежове, они боялись показываться в Москве даже для наведения справок. Слава и величие Лаврентия Берия обнадеживает и выманивает из городов и сел Грузии многих несчастных; они приезжают, вооруженные письмами родственников и друзей к людям из свиты Берия, которых тот захватил с собой в Москву.

Но немало есть и совсем ”свеженьких”, близкие которых были осуждены Верховным судом Грузии или Военным трибуналом Закавказского Военного округа совсем недавно. И нередко знакомые из

Тбилиси просят меня составить жалобу или дать совет, как и куда обращаться. Утопающие хватались за соломинку.

В середине августа мне позвонила рано утром незнакомая грузинка и рыдая сказала, что она жена профессора Ш.Микеладзе и находится в таком же положении, в каком недавно была я; она впервые в Москве, совершенно не знает русского языка, не может одна выйти из дому и умоляет меня повидать ее.

Я сразу поняла, в чем дело, и немедленно поехала к ней.

Профессора Ш.Микеладзе, известного и очень популярного в Грузии врача, Военный трибунал Закавказского военного округа недавно приговорил к смертной казни по обвинению в измене родине. Приговор подлежал обжалованию в кассационном порядке в Военную коллегия Верховного суда СССР. Жена осужденного, К.Микеладзе, приехала в Москву спасти жизнь мужа. Пожилая женщина, домохозяйка, не слишком осведомленная о том, что происходило за стенами ее хорошего, гостеприимного дома, попав в Москву и не умея толком объясняться по-русски, была в состоянии полного отчаяния. Своему единственному сыну, студенту одного из ленинградских ВУЗов, она так ничего и не сказала об участии отца, чтобы не погубить его. Она остановилась в доме русского врача, приятеля их семьи, который неоднократно гостил у них в Тбилиси. Но настоящую причину своего приезда она, конечно, скрыла. Разыгрывая с огромным напряжением воли роль "веселой гостьи", которая по грузинским обычаям прикатила сюда с вином, коньяком и фруктами, она говорила, что приехала в Москву за покупками.

Знавшие меня друзья и родственники К.Микеладзе дали ей телефон Меера и уверили, что я сумею ей помочь.

И вот мы наедине, хозяев нет, и она дает волю сдерживаемым до сих пор слезам. Домработница

услышала плач, приоткрыла дверь и с недоумением спросила меня, что случилось. "В Тбилиси умерла ее горячо любимая двоюродная бабушка", — сказала я. Домработница изобразила на своем лице не то сочувствие, не то удивление и тихо прикрыла за собой дверь.

К.Микеладзе была беспомощна, как ребенок. Она плохо ориентировалась в городе, и при этом смертельно боялась метро. Мне пришлось сопровождать ее повсюду.

Ведение дела ее мужа мы поручили одному из известных и допущенных к политическим делам адвокатов — М.Берлину. Поскольку делопроизводство во всех военных трибуналах республик, и в том числе Грузии, ведется на русском языке, кассационные дела в Военной коллегии Верховного суда СССР рассматриваются довольно быстро. Уже через несколько недель определением Военной коллегии Верховного суда СССР смертный приговор Ш.Микеладзе был заменен десятью годами лишения свободы в лагерях. Беспредельно счастливая К.Микеладзе вернулась в Тбилиси.

Впоследствии брат К.Микеладзе, адвокат Д.Лордкипанидзе, рассказал мне, что накануне этапирования мужа она получила разрешение на передачу теплых вещей и свидание с ним. Вернувшись после свидания домой, обрадованная тем, что "хорошо собрала мужа в дорогу", она впервые за много месяцев после ареста мужа села за стол в кругу близких родственников, приглашенных по этому "счастливному" случаю, и вдруг упала на пол и почти мгновенно умерла от разрыва сердца. Она умерла счастливой, так как не дождала до трагической гибели мужа: через год, во время войны, его расстреляли при эвакуации лагеря, в котором он содержался и где было расстреляно множество политических заключенных.

Потянулись месяцы. Я все кружусь и кружусь в заколдованном кругу. Начав с самой низшей ступени, я с упорством, как одержимая, рвусь все выше и выше. Добираюсь почти до самых высоких инстанций

Военной и Союзной прокуратуры. Наконец слышу окрыляющие слова: "Проверим, изучим, и, если подтвердится правильность ваших требований, дело будет пересмотрено".

Наступают дни ожидания. Потом из разных мест приходят ответы — до того одинаковые, словно они написаны под копирку. "Ваш брат осужден и сослан правильно. Оснований для пересмотра дела нет".

И я начинаю новый круг.

Хаим дома. Отец в Сибири. Времена переменялись. Теперь тон моих жалоб становится все более смелым. Я уже не прошу, я требую. Брауде не одобряет моих жалоб, он вообще считает мои действия опасными. Но меня это не волнует.

В Москве теперь много грузин, занимающих высокие посты. В основном это "люди Берия", его соплеменники — мегрелы. Но среди них есть и такие, до которых я в состоянии добраться. Один из таких — Р.Б. Он устроил мне неофициальную встречу с ответственным работником ГУЛАГа. Тот, из уважения к Р.Б., разговаривал со мной очень по-домашнему и под большим секретом сообщил, что Герцель сослан в Норильский край.

Когда Берия перевели в Москву, он, среди прочих своих людей, которые были его глазом и ухом в МГБ других республик, взял также своего близкого друга, философа Петрэ Шария, который до того возглавлял в Грузии идеологический фронт.

В начале 30-х годов на Тбилисском горизонте возникли вернувшиеся из Москвы после окончания Института красной профессуры В.Вашакмадзе и Петрэ Шария. Как ураган, они вторглись во все сферы культуры и начали беспощадно громить все "буржуазное наследие" с марксистских позиций. Доведенный до отчаяния грубым диктатом В.Вашакмадзе, которого он брезгливо называл Ишакмадзе, гениальный режиссер К.Марджанишвили даже угрожал самоубийством. В 1937 году Вашакмадзе был расстрелян, а близ-

кий друг Берия — Петр Шария стал полновластным диктатором в сфере науки, литературы и искусства.

Никто в Грузии толком не знал, какой именно официальный пост занимал П.Шария в Москве. Но все почему-то считали его правой рукой Берия. И Шария, неприметный для москвичей, для грузин был сильным и могущественным соратником Берия. Самый облик его — философа, человека нуки, любителя искусства и литературы, создавал у людей иллюзию надежды. Да и несколько случаев освобождения известных грузинских академиков, совпавших с временем возвеличения Шария, люди склонны были объяснять его благотворным влиянием на Берия.

Шария очень близко знал Герцеля, и потому я уверяла себя, что если только мне удастся достучаться до него, Шария не останется равнодушным к его судьбе.

Друзья из Тбилиси под большим секретом дали мне его домашний адрес, а также номера телефонов — служебный и домашний. Вначале я долго пыталась дозвониться. Ни на минуту не отрываясь от аппарата, в течение трех суток я слышала только короткие гудки. Только тогда, когда один вид телефонного аппарата стал вызывать у меня дрожь, я перестала звонить.

Потом я послала П.Шария длинное письмо по домашнему адресу.

Я ждала дни, недели. Ответа не было.

Потом я послала ему телеграмму на дом.

И снова без ответа...

Наступил 1941 год. В промежутках между хлопотами иногда на 1—2 дня вырываюсь домой в Ленинград. Муж всячески поддерживает меня и помогает чем только может.

В середине января я послала отчаянную телеграмму на домашний адрес Берия и просила приема.

Раздраженный моими поступками Брауде кричал: "Дуреха! Тебя арестуют. Ты лезешь в огонь". Но голос благоразумия до меня уже не доходил.

Через два дня после того, как я отправила телеграмму на имя Берия, рано утром позвонил телефон. Мужской голос произносит мое имя, и потом отчетливо говорит:

— Звонят из МГБ. Вам назначен сегодня прием. Придете в 12 часов вечера. Пропуск будет в приемной. Не забудьте документы.

Нас с Меером охватило сильное волнение. Наконец-то добрались до него. Что-то будет?

В тот день Меер вернулся с работы рано. Он не может скрыть волнения; утренний телефонный звонок его напугал.

— Может быть, прав Брауде, и тебе не нужно лезть в огонь, — удрученно говорит он.

За два часа до назначенного приема мы с Меером вышли из дому. Около часа мы молча ходили взад и вперед по Петровке. Было очень холодно. В половине двенадцатого Меер вдруг зашел в какой-то ресторан и вышел оттуда с откупоренной четвертинкой водки. Я удивилась, так как ни Меер, ни отец, ни остальные братья в жизни не пили водку. Он отпил почти половину и стал настаивать, чтобы и я выпила тоже. Я отпила несколько глотков. Вероятно, так он хотел заглушить свою тревогу и немного подбодрить меня.

Без десяти минут двенадцать на углу Кузнецкого моста он крепко обнял меня и улыбнулся.

Я вошла в приемную МГБ, Меер остался ждать на улице.

Меня встретил какой-то высокий тип в черной сорочке и черных брюках, заправленных в высокие сапоги. Встретил, как знакомую. Длинными коридорами он повел меня в главное здание, потом ввел в большой кабинет на втором этаже, где на полу лежал темный ковер. Вокруг большого круглого стола стояли глубокие темные кожаные кресла; на окнах и дверях висели тяжелые шторы. "Тип" был не похож ни на русского, ни на грузина, ни на армянина. У него было широкое плоское лицо с маленькими чуть раскосыми глазками; я подумала, что он, вероятно,



осетин. Он любезно помогает мне снять шубу, просит устраиваться в кресле.

Из-за штор вдруг бесшумно появился второй "тип". Видимо, этот рангом повыше первого, потому что при его появлении тот сразу почтительно отошел и стоял молча.

Второй "тип" похож на армянина. Он подошел, улыбаясь, взглянул на часы и сказал очень дружелюбно:

— Фани Давидовна, сейчас начало первого. Вам придется немного подождать. Лаврентий Павлович занят.

Потом оба уходят так же бесшумно.

Стараясь подавить дрожь в коленях, я крепко ухватилась за ручки кресла. Эта дрожь началась у меня, как только тот "осетин" повел меня по коридорам. Я забыла все приготовленные фразы, все соображения, которые собиралась изложить. Я не помню, что я сама долго и упорно добивалась войти сюда, я теперь переживаю ощущения Герцеля, когда его, в ту роковую для нашей семьи ночь 25 апреля 1938 года, вырвали из жизни и впервые ввели в это здание.

С тех пор прошло уже два года и десять месяцев. Сколько энергии, сколько душевных и физических сил испепелено на то, чтобы узнать — где он и что с ним. И даже сейчас я знаю не больше того, что знала в страшное апрельское утро 1938 года.

А теперь я сижу в этом до жути безмолвном кабинете, где-то в двух шагах от того, кто после "отца и учителя" является властелином миллионов человеческих судеб и от которого зависит дальнейшее земное существование не только Герцеля, но и всей нашей семьи. Найду ли я слова убеждения или сумею лишь умолять и рыдать...

Умолять и рыдать?.. Перед кем?

Я кажусь себе жалкой и смешной... В памяти мелькают примеры его бесчеловечного обращения с людьми, даже близкими... Вспоминаю красавицу Т.С., которую я в последний раз видела в конце 1937 года у моей близкой подруги и ее родственницы — Александры Т.

Мы с Александрой сидели в ее полуосвещенной спальне и тихо разговаривали о ее муже — молодом и гордом абхазце, которого взяли месяц назад. В домашнем халате, непричесанная и взволнованная, в комнату вошла Т.С., жившая недалеко от Александры. Два дня тому назад взяли ее мужа — известного в городе инженера. Между тем люди знали, что Т.С. находилась в интимных отношениях с Л.Берия, который в то время был окружен необычайно романтическим ореолом любителя и покровителя поэзии, искусств и наук.

Т.С. подробно рассказала нам все перипетии, связанные с арестом ее мужа, в котором она винила исключительно начальника НКВД Гоглидзе. Она была уверена, что Гоглидзе еще "поплатится за это". Она даже велела арестовавшим ее мужа гебешникам передать Гоглидзе: "За что вы взяли моего мужа? Не за то ли, что я любила хозяина?". Она была уверена, что любовь к "хозяину" поможет ей "проучить" Гоглидзе.

Но Л.Берия не внял слезам своей "любимой", и через несколько дней сама Т.С. последовала за мужем.

Не могу забыть известного писателя и замечательно-го человека, Николо Мицишвили. В начале 30-х годов он вернулся из Парижа, где после советизации Грузии находился в эмиграции. В Тбилиси он женился на молодой женщине, известной своей красотой. В самом разгаре арестов грузинских писателей в конце 1937 года, на каком-то банкете среди литераторов, ему не понравилось слишком фамильярное обращение Лаврентия Берия с его женой. Он метнул в сторону Берия негодующий взгляд, встал из-за стола, взял жену под руку и вместе с нею демонстративно покинул банкет.

Через два дня Николо исчез.

Вспоминаю и лицо Берия, каким я запомнила его в театре зимой 1937 года. В антракте мы с Герцелем гуляли в фойе. К нему подошел человек в штатском и сказал, что его просят в правительственную ложу. Герцель почему-то взял и меня. В глубине полуосвещенной ложи сидел Лаврентий Берия. И какие-то

люди, которых я никогда не видела. Смешанное чувство любопытства и страха овладело мной, когда он, придвинув мне стул, глядел на меня желтовато-зелеными глазами из-под поблескивающих очков. И пока он разговаривал с Герцелем, во мне росло странное, безотчетное беспокойство.

Прошел час. Потом другой. За это время какой-то человек раза два или три, стараясь не шуметь, проходил через комнату. Потом появился "армянин" и опять, улыбаясь, сказал: "Лаврентий Павлович извиняется. У него срочное совещание, он задержится еще немного". Потом, заметив, что на столе в открытой коробке остались всего две папиросы, сказал с участием: "У вас кончаются папиросы. Я сейчас распоряджусь". — И вышел.

Минут через 15–20 вошел "осетин" и положил передо мной на стол нераспечатанную пачку папирос "Казбек".

Сию, жду, и напряжение во мне растет, и в тысячный раз мысленно повторяю все, что я должна сказать.

Четыре часа. Иногда мелькает мысль о Меере, который в эту морозную ночь ходит по площади и, наверное, уже потерял надежду, что я выйду отсюда.

Около пяти часов утра вошел "армянин" и с напускной досадой сказал:

— Фани Давидовна! Лаврентий Павлович просил передать, что он, видимо, еще долго задержится. И чтобы не заставлять вас ждать зря, он велел написать здесь все, что вы хотите сказать ему. Ваше письмо в запечатанном сургучом конверте будет передано ему немедленно по окончании совещания.

Отчаяние мое было уже на пределе... Я начала кричать:

— Нет, нет. Я подожду, сколько нужно. Я буду ждать сегодня, завтра, послезавтра, но я должна видеть его и лично говорить с ним!

— Вы же понимаете, должно быть так, как сказал Лаврентий Павлович, — произнес он изменившимся

голосом. Потом взял меня под руку, завел в другую комнату и снова в прежнем тоне начал приговаривать: — Вот здесь. Никто вам мешать не будет. Вот сургуч. При вас закроем и немедленно передадим, как только он освободится.

И тут я поняла, что бесполезно настаивать, бесполезно просить.

Когда "армянин" вышел и закрыл за собой дверь, меня охватило чувство безысходности. У меня было такое ощущение, будто я очень долго карабкалась со дна пропасти наверх; а когда наконец добралась до края, меня толкнули, и я снова провалилась на дно.

Я села писать. Я писала по-грузински. Все накопившееся за эти годы и душившее меня отчаяние изливалось на бумаге; я доказывала, объясняла, просила, умоляла...

Было уже начало седьмого, когда я открыла дверь. Мгновенно передо мной оказался "армянин". Мне даже показалось, что все время, пока я писала, он стоял у двери.

При мне он растопил сургуч и заклеил большой конверт. Я написала на конверте по-грузински свою фамилию, имя, адрес и номер телефона Меера. "Мы вам позвоним", — сказал он с подчеркнутой любезностью.

Когда "осетин" закрыл за мною глухие, тяжелые двери, я направилась прямо к станции метро "Дзержинская". Начало светать. Я остановилась перед входом. Люди, спеша на работу, толпами валили в метро. Со стороны Кировской улицы появился Меер. Заметив меня издали, он побежал, кинулся ко мне, дрожа от холода и пережитого страха. Он до того обрадовался моему появлению, что в первые минуты даже забыл спросить, видела ли я изверга.

Так мы с Меером провели еще одну незабываемую ночь страха и надежды. Он — шатаясь на улице при 25-градусном морозе, я — в теплом кабинете на Лубянке.

В ожидании звонка с Лубянки прошел январь, подходит к концу и февраль. Я ломаю себе голову, пытаюсь понять, почему Берия заставил меня ждать всю ночь, если он не собирался принять меня! И что означали эти неоднократные "извинения", которые приносил мне от его имени "армянин".

В начале марта мой муж, находившийся в это время в Москве, видя, что бесплодная борьба совсем иссушила и изгрызла мне душу, стал уговаривать меня отложить хлопоты на месяц-другой и вернуться домой пока "погода прояснится". Время опять наступило тревожное; ощущалась неизбежность каких-то больших перемен. Я согласилась, но решила до отъезда отправить Берия еще одну телеграмму по его домашнему адресу и напомнить ему о моем "визите".

Составив текст телеграммы, я, как обычно, поехала к Брауде проконсультроваться. В последнее время он все больше сердился и кричал на меня, утверждая, что я совсем обезумела. Но каждый раз, в конце концов, соглашался со мной и, если находил нужным, вносил свои коррективы в мои "безумства".

На этот раз он решительно и категорически стал возражать против моей опасной затеи; по его словам, я подвергала смертельной опасности не только себя, но и Меера.

Он долго и нервно ходил вокруг своего письменного стола с ворохом беспорядочно набросанных на нем бумаг и брошюр. Потом вдруг остановился и, как бы вспомнив о чем-то, сказал:

— Хорошо! У меня есть возможность связать тебя с человеком, имеющим право истребовать дело.

Человеком этим оказался прокурор Тарасов, один из помощников Генерального Прокурора Союза ССР. Тарасов жил в том же доме, где и Брауде. В последнее время у него дома разыгралась настоящая драма. Брауде помог ему отстоять ребенка, которого отобрали у него мегера-жена, преследовавшая его и угрожавшая его убить.

Брауде обещал устроить мне прием у Тарасова в самые ближайшие дни.

Новая надежда окрылила меня. Оживились и Меер и муж. Он вернулся в Ленинград, а я бросилась "по новому следу".

На следующий день позвонил Брауде и сказал, что Тарасов примет меня не то 19, не то 20 марта, не помню точно.

Не провела я и пяти минут в кабинете прокурора Тарасова на первом этаже Прокуратуры СССР, как почувствовала, что вдруг куда-то исчезли напряженность, страх, отчаяние и гнетущая тоска, которые не покидали меня ни на минуту в течение трех лет.

Передо мной сидел еще не старый человек, с интеллигентным русским лицом, с зачесанными назад черными волосами. Он смотрел на меня из-под очков дружелюбно и с искренним сочувствием.

Впервые за эти годы я почувствовала в кабинете прокурора подлинно человеческое отношение, искреннее желание и готовность помочь.

Расспрашивая меня, Тарасов делает какие-то заметки, переспрашивает, уточняет даты, факты.

Окончив "ознакомление с делом", Тарасов встал и сказал тоном, не оставляющим и тени сомнения в его решимости:

— Дело будет истребовано. Заверяю вас, что все возможное будет сделано.

Не только слова, но и тон, каким они были произнесены, ошеломили меня... Я боялась поверить своим ушам...

Тарасов велел мне прийти через две недели. Чтобы избавить меня от мучительных хлопот о пропуске, он тут же выписал мне повестку — вызов в прокуратуру СССР. День вызова приходился на последнюю пятницу марта 1941 года.

И когда я пожала его протянутую руку и поблагодарила, впервые за три года я улыбнулась.

Луч надежды, блеснувший в кабинете Тарасова, с каждым днем становился все более ярким; мы уже были уверены в благоприятном повороте судьбы. Глаза Меера сияют радостью. От волнения он даже стал слегка заикаться. Из телефонных разговоров с мужем я узнаю, что и там обещание пересмотреть дело Герцеля всколыхнуло всех, и дома с нетерпением ждут моего "окончательного возвращения".

Во мне все ликовало. Наконец! Наконец! Я забыла все пережитые за эти годы муки, страдания и унижения. Считаю дни и часы до последней пятницы марта. Герцель вернется, иначе и быть не может. Ведь еще летом 1938 года, в самый кульминационный период арестов, по Тбилиси шли упорные слухи, что он будет "первой ласточкой", прилетевшей "оттуда".

Он не имел ничего общего ни с кем из "исчезнувших" - как партийных, так и беспартийных! Он был лишен всех признаков, по которым "брали". А уж теперь, после свержения Ежова и прекращения массовых арестов, после возвращения "оттуда" людей, исчезнувших в те же дни, после отмены смертного приговора отцу, - теперь уж казалось несомненным, что достаточно добиться пересмотра дела Герцеля, и он вернется.

Накануне приема у Тарасова, в четверг, я уложила свои вещи и взяла билет в Ленинград на субботу. В пятницу рано утром я позвонила мужу и сообщила ему номер поезда и вагона. По-видимому, мой голос показался ему особенно бодрым, потому что он сказал:

— В твоём голосе чувствуется металл. Как я счастлив, что наконец и нам улыбнется судьба. Наши готовятся торжественно отметить 15 апреля день нашей свадьбы.

Родные мужа собираются празднично отметить годовщину нашей свадьбы. А кому бы это пришло в голову во все эти годы! Тем более, что именно с нее все и началось.

День был на редкость теплый и солнечный. Около пяти часов с повесткой на руках прямо через двор я прошла в Прокуратуру СССР – в спец-отдел, к прокурору Тарасову.

Когда я вошла в кабинет, мне показалось, что Тарасов очень занят и чем-то озабочен. Не подавая мне руки, он продолжал что-то искать в ящиках стола, потом в шкафу. Я села в кресло и начала ждать, пока он отыщет какие-то, видимо, срочные материалы. Ни разу не взглянув в мою сторону, он продолжал угрюмо рыться в ящиках. Меня встревожила его нервозность. Но я сидела и молчала.

Потом он неожиданно сильно хлопнул нижним ящиком, встал и, выйдя из-за стола, остановился передо мной. Он смотрел куда-то в сторону, в угол комнаты, как-то странно развел руками и проговорил:

– В общем, я ничего сделать не могу.

Пока я опомнилась, он быстро направился к открытой двери боковой комнаты. Там он остановился на мгновение и, обернувшись, сказал очень тихим голосом:

– Вы культурный человек, поймете сами.

С этими словами он исчез.

Я пытаюсь собраться с мыслями... То есть, что значит "не могу ничего сделать"? И что я должна понять?

И вдруг острой, невыносимой болью сознание пронзила мысль: Герцель расстрелян... убит... убит...

Я потом никогда не могла вспомнить, что со мной было и сколько времени я находилась в кабинете у Тарасова. Первым сознательным ощущением было инстинктивное желание ухватиться за ручки кресла, так как я сползала с него вниз. Невероятная сила тянет меня к земле, сквозь землю, в пропасть. Это со страшной силой давят на меня обрушившиеся небо и земля.

Не знаю, сколько времени я пролежала на полу в безмолвном кабинете, без мыслей и без чувств.

Тарасов не возвращался.



Я попыталась встать. Ноги были ватными. Я поползла до двери. Ухватилась за ручку, привстала. Наконец открыла дверь и сгорбившись поплелась через двор на улицу.

Выйдя со двора, я прислонилась к железной ограде. Заходящее солнце мне показалось черным. Навсегда осталась в памяти залитая черными лучами заходящего черного солнца Москва в ту последнюю мартовскую пятницу 1941 года.

Все кончено...

Еще утром я была счастлива. Утром была жизнь, в которой было много страданий, мук и слез, и борьба, и надежда на будущее. А теперь нет больше надежды и не будет будущего.

Начинало темнеть. Я бессмысленно поплелась по Пушкинской улице вниз, к площади. Шла, не зная куда и зачем...

Герцеля убили... и не было в жизни больше ни дороги, ни цели.

За что его убили?

Он был молод и красив, высок и строен. Он был талантлив и образован, добр и благороден, горд и мужественен. Он излучал свет и добро. Исходящая от него магнетическая сила покоряла и очаровывала.

Он любил свой народ и поэзию. Он носил в себе печаль и горе своего народа, но не плакал. Он раскрыл свои крылья молодого орла для полета в светлое будущее и увлек за собой тысячи молодых. Он пробудил своих братьев от тысячелетней спячки, отучил от немоты и помог обрести утраченное достоинство.

Его любили тысячи, ненавидели из черной зависти — единицы.

Его любили евреи и грузины.

Он был единственным, не похожим ни на кого.

Он был сиянием и душой моей жизни.

Погасло это сияние, и стало темно. В темноте гаснет и чахнет все живое.

Вокруг меня бурлит жизнь. Люди бегут с работы домой, становятся в очереди за покупками, спешат в кино, в театры. А я все хожу и хожу. Дикая, страшная вопли раздаются в моей душе. Никто их не слышит, люди проходят мимо, а они, никем не услышанные, оглушают меня и мутят мой разум.

Иногда я останавливаюсь, прислоняюсь к дереву и пытаюсь уяснить себе, сколько же времени я, одержимая мыслью "спасти", ходила по следам мертвого Герцеля?

Лента дней прошедшей жизни разворачивается в обратном направлении.

Упорные слухи об освобождении Герцеля, распространившиеся в Тбилиси летом 1938 года, когда в театре по распоряжению Берии восстановили его пьесу "Ицка Рижинашвили", — после ареста отца и Хаима сразу прекратились.

Хаим рассказывал мне, что когда он сидел во внутренней тюрьме НКВД, ему лишь один раз довелось встретить человека, который там Герцеля видел. Это был известный грузинский педагог Г. Н. Он рассказал Хаиму, что в сентябре 1938 года однажды ночью, когда его увозили из следственной тюрьмы во внутреннюю, в машину, в которой уже находилось человек 30 заключенных, втолкнули Герцеля. Он начал спрашивать об отце — не встречал ли кто-нибудь его, не слышали ли о нем.

Несчастный, он был уверен, что и отца взяли, и, сам уже обреченный, терзался тревогой о его судьбе.

Тогда же до Хаима дополз слух, будто в начале октября 1938 года Берия велел привезти Герцеля в кабинет тогдашнего Наркома Внутренних дел Гоглидзе и имел с ним долгий разговор. Берия якобы обещал Герцелю освобождение и полную реабилитацию, но поставил какое-то условие, от которого Герцель отказался.

Какую дьявольскую сделку предложил он Герцелю, если тот не принял ее даже ради спасения своей молодой и сверкающей жизни? И почему он сам, лично,

летом 1938 года приказал восстановить в театре им. Марджанишвили пьесу Герцеля "Ицка Рижинашвили"? Это был беспрецедентный случай. Вот откуда пошли упорные слухи об освобождении Герцеля.

9 октября того же года, во второй половине дня, близкий друг семьи Герцеля, врач Дора М., переходя Ортачальскую улицу, увидела открытую грузовую арестантскую машину, мчавшуюся в сторону тюрьмы. В машине сидели заключенные, и среди них она узнала Герцеля: он сидел в последнем ряду и смотрел на удалявшийся город.

Рассказывая об этом, Дора М. со слезами говорила: "До самой смерти не забуду безумную тоску в его голубых глазах".

После октября 1938 года всякий живой след Герцеля в Тбилиси терялся; осталась только пачка квитанций "получено для передачи Баазову Герцелю 75 рублей". Мама получала эти квитанции в течение многих месяцев, до самого его "этапирования в дальние лагеря Севера"...

Давно уже октябрь 1938 года казался мне какой-то мрачной вехой в ходе следствия по делу Герцеля. А теперь он вдруг превратился в зловещий рубеж его жизненного пути.

О нет, у меня уже нет сомнения, что в ту субботнюю октябрьскую ночь, восьмого или девятого числа, чудовище со змеиными глазами решилось на черное дело. И девятое октября было последним или предпоследним днем земного существования Герцеля, и случайно перехваченный Дорой М. взгляд его безумно печальных глаз был последним прощальным взглядом.

Бедная мама! Она хранит эти квитанции в своей сумочке как "живые весточки" от Герцеля. Сколько же ночей и дней она простояла в очереди вместе с Полиной среди озверевших людей, чтобы передать эти несчастные рубли на имя... уже убитого сына?

Улицы постепенно пустеют. Я хожу и хожу. Все реже и реже попадают люди. Я не знаю, в каком районе нахожусь, не знаю, почему сажусь в пустой

троллейбус, не знаю, куда он идет. Но мне все равно — у меня уже нет ни дороги, ни цели. На последней остановке пересаживаюсь на другой маршрут, доезжаю до конца, схожу и опять пускаюсь в путь.

Кто-то копается в моей памяти, кто-то, издеваясь и злорадствуя, шепчет:

”Дурочка ты легковерная! А ведь папа тогда, в дни процесса, уже знал, что его первенец, воплощение его идеалов, его Герцель расстрелян палачами”.

И настойчиво напоминает:

”Почему отец вздрагивал, почему голос его так страшно дрожал, когда упоминалось имя Герцеля?”.

Почему в те дни он ни разу и никому не задал вопроса о судьбе Герцеля?

Почему, отправляясь в камеру смертников, он сказал мне слова, смысл которых я тогда не уразумела: ”Держись с достоинством. Тебе придется еще многое вынести”.

Почему во время свидания он молча и пытливо вглядывался в лица мамы и Полины, не задавая им никаких вопросов и ни разу не упомянув имени Герцеля?

Почему, упорно глядя на меня, он так настойчиво просил вернуться в Ленинград?”

Да, он знал! Знал и то, что мы еще не знаем.

Хаим мне рассказывал, что, как ему удалось установить в тюрьме, в первый месяц вместе с отцом в камере смертников находились еще двое приговоренных — русский, профессор истории, и грузин, старый революционер. Через месяц грузина расстреляли, а русский сошел с ума.

И снова, как в те дни, я вижу отца, молящегося в черной камере. Но теперь я знаю, что он, сам приговоренный к смерти, оплакивал расстрелянного Герцеля. И он не сошел с ума.

А мама? Она будет находиться до конца своей жизни в блаженном неведении. Кто же решится сказать

матери лучшего из сыновей, что ее сына убили потому, что воплощенное зло на земле не захотело терпеть его больше?

Москва, днем бурлящая, как океан, теперь совершенно безмолвна. И в тишине я явственно слышу голос Герцеля, напевающего песенку из фильма "Путевка в жизнь".

Герцель, хотя и любил музыку, никогда сам не пел. Почему же в дни моей свадьбы, в Ленинграде, счастливый и веселый, он постоянно напевал: "... и никто не узнает, где могила моя"?

Никогда не узнаем мы, где его могила. Никто не посмеет громко плакать о нем. Никто не посмеет громко назвать его имя.

Меня охватывает такая ненависть, душит такая ярость... Я задохнусь, если не крикну на весь мир: "Э—эй, люди! Опомнитесь! Кому молитесь, кого воспеваете! Это чудовище, проклятие рода человеческого, превратившее огромные земли в безмолвное кладбище невинных людей!"

Но опять я слышу насмешливый шепот:

"Кричи! Не успеешь ты крикнуть, как первый же встречный, кто бы он ни был — русский или еврей, грузин или татарин, женщина или мужчина, старый или молодой, пусть даже самый честный и добрый человек — схватит тебя, заткнет тебе рот и объявит тебя сумасшедшей или врагом, потому что поступить иначе никто не может. А затем тебя убьют, как убивают врагов".

"Пусть убьют. Зато в сердце затихнет эта невыносимая боль и застынет попавшая туда горячая пуля..."

"А Меер? Он ждет тебя!"

Пусть еще одну, последнюю ночь, бедный Меер спит, не ведая, что Герцеля давно нет в живых.

Уже пошли первые рабочие трамваи. Один из них идет на Чудовку. Оттуда можно пешком дойти до Оболенского переулка. Хотя этот район славится ворами и бандитами, — ну и что? Я ничего не боюсь, когда иду по темным переулкам. В эту ночь мир от-

вернулся от меня. В эту ночь даже преступник шарахнется от меня.

Как бесконечно длинна эта ночь. Я уже не помню, когда и где она началась, но теперь твердо знаю — не будет ей конца в моей жизни.

Бесшумно открываю своим ключом дверь. Не зажигая света, осторожно ложусь, прикрываю голову шарфом, притворяюсь спящей.

Начинает светать. Раньше всех встает тетя Злата и, как всегда, готовит на кухне завтрак Мееру. Меер старается не шуметь и, быстро собравшись, уходит на работу. Доця встает позже; место ее работы совсем близко.

Я слышу, как она, уходя, говорит тете Злате: — Мама, не забудь, как только Фаня проснется, скажи ей, что Брауде звонил весь вечер и что он ждет ее в 12 часов в Московском городском суде.

Из окна глядит мрачное и хмурое утро. Ничего не чувствую, кроме тяжести и пустоты.

А может быть, ничего и не произошло? Ночь я спала здесь, и мне приснился какой-то страшный сон, который сейчас не могу вспомнить.

Брауде звонил весь вечер. Он ждет меня в суде!

Зачем идти к Брауде? Зачем вообще куда-нибудь идти?

И вдруг, как змея, в сознание вползла мысль: "Что, собственно, ты знаешь? Ведь Тарасов ничего определенного не сказал? Может, все это только порождение твоей измученной, заболевшей души? Может, ты сама себя довела до безумия?"

— Ты уже проснулась? — спрашивает, войдя в комнату, тетя Злата. — Что... — Но она не договаривает. Я вижу, как у нее от ужаса расширяются глаза.

Увидев меня в коридоре, Брауде сразу вышел, взял меня за руку, завел в пустой зал судебного заседания и прикрыл дверь. От слабости я не могла стоять и присела на кончик длинной скамейки.

Брауде прошелся по залу, и вдруг с другого конца начал на меня кричать:

— Что это значит? Дуреха! Я знаю, что тебе сказал Тарасов. Я это давно знал, но не хотел тебе говорить, опасался, что у тебя не хватит сил бороться за отца и за Хаима. Теперь настало время, когда ты должна знать правду и прекратить свои бессмысленные и опасные действия.

Он ходит по залу быстро, нервно, произносит холодные жесткие слова, а голос его дрожит и глаза грустнее обычного.

После слов Брауде все стало страшной реальностью:

— Илья Давидович, мне нужно знать точную дату... дату...того дня...

— Десятое октября 1938 года...

Впоследствии я не могла вспомнить — куда я ушла из Московского городского суда, и вообще, как провела этот день. Помню лишь грохот метро и троллейбусы.

Но когда стемнело, я вспомнила, что Меер уже дома и надо ехать к нему.

Должно быть, вид у меня был страшный, потому что Меер сразу все понял. Ужас искажил до неузнаваемости его прекрасное лицо.

Он крепко обхватил меня, и мы оба, онемевшие и окаменевшие, опустились на пол...

Мы сидели опустошенные, отрешенные, без мыслей и без чувств, и только, как далекое эхо, до нашего сознания доносились рыдания Доци, сидящей с нами рядом на полу.

Так, спустя два с половиной года после расстрела Герцеля, мы с Меером поняли, что произошло бесповоротное крушение нашего дома и в нашей жизни наступил вечный мрак.

Не знаю, сколько мы просидели так. Тетя Злата сказала Мееру, что я опаздываю на поезд.

Тут только я вспомнила, что у меня билет и что "Красная стрела" уходит в 0.15.

Муж появился у входа в мое купе с цветами в руках. Увидев, что я вся в черном, он страшно изменил-

ся в лице. Цветы полетели в угол; он накинул на меня шубу и помог мне встать. Видимо, он сразу все понял и поэтому не стал задавать никаких вопросов.

Мы вошли в дом так, как будто внесли с собой гроб. Родные мужа сразу поняли, что случилось самое страшное, о чем говорить нельзя.

И они торопливо начали менять праздничное убранство дома. Ирина поспешно убирает ноты с рояля; свекровь, Рахиль Абрамовна, старается незаметно прикрыть красивые и яркие подарки, которые она приготовила мне к третьей годовщине свадьбы. Косая тетка бесшумно ходит по квартире и гасит люстры, которые зажигались в доме по праздникам.

Они ждали моего возвращения и готовились к этому сердечно, тепло и радостно.

Я вернулась. И в их доме воцарились мрак и тоска...

Прошло всего несколько дней после моего возвращения в Ленинград, — и я поняла, что пришло время разрешить тяжкую проблему моей личной жизни. Я была убеждена, что мир человеческих радостей для меня больше не существует; происшедший в душе надлом притупил все желания и стремления. Я чувствовала, что отныне буду жить не для себя, а для чего-то другого, и уклониться от этого не смогу и не должна. Жизнь моя превратится в служение. Я понимала, что не совместить мне служение построенному в душе храму с миром личного счастья, и только жертвенность даст мне силы жить. Жажда жертвенности в моей душе была так сильна, что она просто сметала все логические соображения и доводы сознания.

К тому же я чувствовала, что жертва моя особенно ценна именно теперь, ибо отношение моего мужа — это великий дар судьбы, добровольный и сознательный отказ от которого может дать заряд огромной духовной силы. И зачем же я буду наваливать на мужа свой страшный груз? Сейчас он готов взвалить его на себя, но в будущем этот груз придавит его совсем.



Он — живой человек, а во мне жизнь убита. В дальнейшем это приведет к охлаждению, быть может, к полному духовному отчуждению.

И я приняла твердое и жестокое решение уехать из этого дома навсегда.

Напрасны и тщетны были уговоры, мольбы, заклинания мужа и его родных. Муж умолял меня отложить решение этого вопроса хотя бы на шесть месяцев. Он был глубоко уверен, что в результате страшного потрясения я нахожусь в состоянии временного помешательства и со временем это пройдет. Он возил меня по тем местам, где мы гуляли вдвоем или вместе с Герцлем летом 1937 года. Он лелеял надежду, что знакомые места воскресят во мне былые ощущения.

Напрасно свекровь моя, умудренная тяжелым прошлым и большим жизненным опытом, часами сидя возле моей кровати, уговаривала меня жить, "как живут люди в жизни, а не в книжках".

Напрасно чуткая и глубокая Ирина, обнимая меня и тихо рыдая, просила не покидать их дом.

Напрасно приехавший в те дни с Севера старший брат мужа Зиновий и жена его Тамара старались удержать меня от "безумства", каким они считали мое намерение.

Судьба, преследовавшая меня с той поры, как я покинула родительский дом, позаботилась обо всем сама.

В середине марта моего мужа, как специалиста-строителя, мобилизовали и отправили на северную границу.

В отсутствии мужа мне было легче осуществить свое намерение. При нем у меня, возможно, не хватило бы на это душевных сил.

Я ушла от благополучия, от обеспеченности. И покинула навсегда теплый дом моего мужа.

...Весть о том, что я оставила мужа и переехала в Москву, была встречена в нашем доме в Тбилиси как очередной удар.

Потрясенный Хаим немедленно прилетел в Москву. Взволнованный, воинственно настроенный, он был готов броситься в решительную битву для защиты интересов сестры. Но сразу после завтрака Меер взял его за руку и молча увел из дому.

Вернулись они поздно. Я не знаю, о чем они разговаривали, но Хаим был уже неузнаваемым. Он притих и казался очень печальным. На следующий день он уехал.

Ни в тот раз, ни впоследствии ни Хаим, ни другие родные никогда не спрашивали о причинах моего поступка. Но мне всегда казалось, что они хорошо понимали цену той жертвы, на которую обрекла меня трагедия нашей семьи.

Просто и деловито сказал мне при встрече Брауде:

— Я знал, что у тебя кончится так! Ты уже нигде и никогда не будешь счастлива. Подайвай немедленно документы в московскую коллегия адвокатов.

...С моей ленинградской пропиской мне легко и быстро удалось прописаться в Москве. Даже в самом центре. Я сняла комнату на улице Кирова у одной старой большевички — персональной пенсионерки. Муж ее был убит во время гражданской войны, и она жила одна в двух комнатах на скудной пенсии. Живя в двух шагах от Кремля, она была очень далека от жизни. Она охотно и много рассказывала о времени, когда вместе с мужем боролась против "врагов революции". Но настоящее, которого она никак не могла увязать со своими идеалами, наводило на нее неопиcуемый страх, и всяких разговоров о текущей жизни она избегала. Она очень нуждалась, но была исключительно осторожна в выборе квартирантки. Меер произвел на нее впечатление "серьезного и порядочного" парня, и она поверила ему, что я не буду устраивать веселые вечеринки с попойками.

...Процедура приема в Московскую коллегия адвокатов могла занять несколько месяцев. Поэтому было необходимо найти какую-нибудь временную работу.

Друзья-юристы и тут пришли мне на помощь. Благодаря им я устроилась юрисконсультантом в системе "Мосгорстройсоюза". Это была мощная, широко разветвленная хозяйственно-строительная организация. Зарплата там была невелика, хотя в московских условиях все же давала какой-то прожиточный минимум.

Но ведь мне необходимо было отправить маму в ссылку к отцу и обеспечить их обоих там. Другими словами — спасти их от голодной смерти. Я не могла рассчитывать на помощь Меера и Хаима, которые с невероятным трудом обеспечивали прожиточный минимум своим семьям.

Даже впоследствии я не могла понять, почему в те дни в Москве я так лихорадочно бросилась заготавливать продукты к отъезду мамы в Сибирь.

Весной 1941 года Москва жила кипучей, веселой жизнью. Ничто решительно не наводило на мысль о возможности войны.

И все же... Меня преследовало ощущение — или предчувствие — что в ближайшее время что-то стрясется и отец может оказаться совершенно отрезанным от нас, а это значит, что он, перенесший столько невзгод, наверняка погибнет от голода. Поэтому для меня стало первейшей задачей заготовить к маминому отъезду в Сибирь максимальное количество продуктов. Нужно было много времени, труда и денег, чтобы заготовить сотни килограммов сахара, муки, крупы, галет и т.п. В "одни руки" выдавали только по 200—400 г. продуктов. Приходилось неделями выстаивать в длинных и изнурительных очередях. А главное, нужно было много денег, которых у меня не было. Правда, у меня была небольшая, но очень ценная библиотека, состоявшая из библиографических редкостей. Я в свое время покупала их у московских и ленинградских букинистов. Но с книгами я, даже при крайней нужде, до сих пор не расставалась. И потому я начала с одежды.

В гардеробе у меня были дорогие и красивые вещи, которые мне покупали отец, Герцель и муж: тут и шу-

ба из голубой белки, и шуба из каракуля и многое другое.

Я решила, что обойдусь своим черным пальто (оно честно прослужило мне 15 лет и достойно доброй памяти). Вещи имеют теперь для меня только продажную ценность.

В Москве они пойдут нарасхват, ведь в магазинах их нет. За ними охотятся предприимчивые особы, промышленяющие куплей-продажей дефицитных предметов.

Молча наблюдал Меер, как я отдавала одно вечернее платье за другим. Ему было жаль меня, но он даже не пытался меня остановить. Он видел, что превращение этих вещей в продукты для родителей дает мне некоторое душевное удовлетворение и, главное, отвлекает от того, о чем нам так страшно думать. Все свободное от работы время, до позднего вечера, он стоит рядом со мной в очередях, молчаливый, безучастный ко всему, что происходит в шумном и многолюдном московском продмаге.

А потом мы возвращаемся, нагруженные, на Кировскую улицу — в мою комнату, где пакеты и ящики с продуктами постепенно заполняют все пространство.

... В те дни мое поведение было загадкой даже для самых близких друзей. Не видя признаков безумия в моем отношении к работе, в контакте с окружающими и общем поведении, они не могли уразуметь ни моего неожиданного разрыва с мужем, ни добровольного отказа от прав на роскошную квартиру в центре Ленинграда.

В Москве тогда, за исключением двух или трех человек, никто не знал страшной правды. Кто мог догадаться? Кто мог догадаться, что я совершала казавшиеся алогичными поступки в попытке спасти свое сердце от полного крушения?

Кто мог понять мое бузудержное стремление превратить всю свою одежду в сахар и галеты?

По существовавшим тогда железнодорожным правилам в поезде дальнего следования на один билет можно было сдать в багаж только 100 кг. Багаж сверх

установленной нормы подлежал штрафу в двух-, трех- или четырехкратном размере в зависимости от количества груза сверх нормы.

Заготовленный мною груз для отправки в Сибирь составлял около 500 кг. Следовательно, я должна была заплатить штраф в четырехкратном размере. Тогда это выглядело баснословной цифрой! Близкие люди недоумевали; они совершенно резонно считали, что вместо выплаты астрономической суммы штрафа я могла, как делала это и раньше, просто отправлять посылки по почте. Но кто поверил бы тогда моей почти суеверной убежденности, что после маминного отъезда я лишусь возможности оказывать им какую-либо помощь?

...В суматохе очередей быстро промчались апрель и май. В начале июня, когда моя заготовительная кампания была уже завершена, Хаим отправил маму в Москву. 10 дней она прожила на квартире у Меера. Никого и ни о чем не расспрашивала. Оживлялась лишь, когда снова и снова задавала мне один и тот же вопрос: что я собираюсь делать для пересмотра дела Герцеля?

Мама много лет прожила в своем доме, в атмосфере любви и уважения. Огражденная от грубой действительности крепостью своей семьи, она плохо знала жестокий мир и уж конечно не имела ни малейшего представления о бескрайних сибирских просторах.

Но мама едет туда добровольно, потому что для нее невысказанно не делить с мужем его невзгоды.

Мы тоже отправляем ее туда добровольно, потому что знаем: не выдержит отец без ее забот и сгинет в далеком сибирском холодном краю.

14 июня 1941 года мы с Меером посадили маму в прямой скорый поезд Москва—Хабаровск. В день отъезда я вручила ей документы на следовавший тем же поездом багаж, происхождение которого нам с Меером удалось от нее скрыть.

...Как только последний вагон длиннейшего поезда, увозившего маму в ссылку, скрылся из глаз, я почув-

ствовала, что с моих плеч свалился тяжелый груз. Отец больше не будет одинок, и призрак голодной смерти, хотя бы на ближайшее время, не будет им угрожать.

Казалось невероятным, что мне с Меером больше не придется после работы выстаивать все вечера в осточертелых очередях.

Но не успела я почувствовать облегчение от сознания выполненного долга, как кошмар, возникший в кабинете прокурора Тарасова, предстал передо мною снова.

Горе от смерти близкого человека может быть смягчено оплаканной могилой, сочувствием друзей, оказанием соответствующих почестей, увековечением его памяти.

В будущем никто никогда не поймет известного нам страшного ощущения: даже другу нельзя рассказать о своем безутешном горе. Правда опасна, и знать ее никому не дозволено. Официально Герцель жив и "сослан без права переписки". А люди теперь смертельно боятся правды. Ты никогда не узнаешь — где и как он был убит. Никогда не отыщешь его могилу, чтобы полить ее горячими слезами. Все мысли и дела его должны исчезнуть, а имя должно быть стерто из памяти людей, и никто, никогда не осмелится помянуть его добрым словом.

А ты должна будешь жить среди людей, работать с ними, разговаривать и смеяться, восторгаться и удивляться и при этом всегда делать вид, что в твоей жизни все нормально и ты счастлива.

На самом деле по-настоящему ты будешь жить другой жизнью. В той жизни не будет света, не будет смеха, не будет будущего. Там будет вечное рыдание невыплаканными на его могиле слезами, вечная молитва за его светлую душу. Там будет гореть вечная жажда отмщения и неиссякаемая вера в его второе рождение.

И единственное спасение от кошмара настоящего и черных дум о будущем — это прошлое.

Каким радужным светом был озарен весь его жизненный путь! От первых детских воспоминаний до ро-

кового дня — 25 апреля 1938 года — вся жизнь освещена исходящим от него ослепительным светом.

...Как красиво вокруг нашего дома в маленьком городке на склоне Кавказских гор в Северной Грузии. В три яруса опоясывают его леса, альпийские луга и уходящие высоко в небо вечные ледники. И совсем недалеко от нашего дома сердито бормочет бурная Риони.

Каким волшебством были первые театральные представления, которые Герцель устраивал в одной из комнат нашего дома. Ему было лет 12, нам остальным — Хаиму, Мееру, мне и Пинхасу\* — от четырех до девяти. Но не по годам серьезный, высокий и худой Герцель всем казался взрослым; он всегда вызывал восхищение учителей, товарищей по школе и всех, кто тогда был близок к нашему дому. Нам же, детям, он казался волшебным принцем, пришедшим из мира наших детских сказок, чтобы оберегать нас. Мы с замиранием сердца слушали, как он читает непонятные еще нам монологи Гамлета, Акосты или Иехуды Макаби из написанной им одноименной пьесы.

Ему не было и четырнадцати лет, когда стали печататься его стихи; а отец, вечно перегруженный, уже доверял ему сверку своих публицистических статей.

Сам Галактион Табидзе, краса и гордость грузинской поэзии, привлек его в свой "Журнал Галактиона Табидзе", где Герцель печатал стихотворения на еврейские мотивы.

Ему не было еще девятнадцати, когда он, рядом с отцом, вступил на страницах грузинской прессы в непримиримую борьбу против еврейских и грузинских ассимиляторов и еврейских фанатиков — лютых врагов культурно-национального возрождения грузинского еврейства.

Ярким метеором пронесся он в начале двадцатых годов над давно застывшей, заболоченной и окаменевшей жизнью грузинских евреев. Его многосторонняя деятельность в этот период стала новой вехой в их

---

\* Пинхас, младший брат, умер в возрасте шести лет.

истории. Вместе с Натаном Элиашвили он в 1924 году издавал грузиноязычную газету еврейской национальной мысли "Макавеели" (Макаби); обучал еврейских детей в школе ивриту, еврейской истории и литературе; организовывал детские театральные кружки, где еврейские учащиеся ставили пьесы на еврейские темы, написанные Герцелем же на иврите; создал драматическую труппу "Кадима", где шли уже известные пьесы из еврейской жизни и его собственные — о прошлом еврейского народа. Целое поколение евреев, увлекаемое его неповторимым обаянием и романтическим настроением, вступило на путь национального возрождения.

А в начале тридцатых годов гениальный режиссер Котэ Марджанишвили помог раскрыть его подлинное дарование драматурга.

Но всегда и всюду, как бы счастливо ни складывалась его собственная жизнь, ему были близки несчастные, страдающие люди. Бесконечные заботы и тревоги за судьбу неимущих учеников, больных или попавших в беду друзей наполняли его дни.

...Дом, в котором мы жили в Они, принадлежал обедневшему князю Вану Бакрадзе. Одну половину верхнего этажа занимала наша семья, а вторую — очень близкая нам семья однокашника и друга Герцеля, театроведа Дмитрия Джанелидзе. В нижнем этаже этого дома находились подсобные помещения и склады.

Между складами, внизу, в узкой полутемной комнатушке, жил одинокий еврей. В городе у него родственников не было. Знал ли кто-нибудь его настоящую фамилию и имя? Все звали его по кличке, "Кокия". В детстве я слышала, что еще подростком Кокия после смерти отца — богача из кутаисской еврейской общины — был до полусмерти избит сводными братьями и брошен где-то на дороге между Кутаиси и Они. Его подобрал хозяин нашего дома, князь Вану Бакрадзе, привез и поселил в своем доме бесплатно.



Мне Кокия казался человеком средних лет. Но, наверное, он был моложе. Высокий и очень стройный, он, несмотря на лохмотья, в которые был одет, поражал какой-то странной красотой. Бледное матовое лицо окаймляла черная красивой формы борода, а глубокие выразительные черные глаза еще больше подчеркивали бледность лица. Он избегал людей и почти все время проводил в своей убогой комнате. Даже по субботам он молился один, у себя. В синагогу он ходил только в Иом-Киппур и Девятого Ава. В канун этих дней он уходил в синагогу босиком и возвращался на второй день вечером после окончания молитвы и поста.

За все время, что я помню это странное существо, мне, быть может, раза два или три удалось заглянуть со двора в его комнатушку. Там стояла деревянная тахта со скудной постелью, простой деревянный стол и одна табуретка; все оставшееся место было занято огромными пачками листков из еврейских религиозных книг. По углам стояли мешки, набитые, как я потом узнала, старыми молитвенниками. Пачки пожелтевших листков, аккуратно собранные и сложенные в определенном порядке, лежали повсюду — на столе, на полу, на табурете. Кокия каждые два-три года обходил пешком еврейские общины Западной Грузии и привозил оттуда вышедшие из употребления молитвенники и пожелтевшие разрозненные листы талмудической литературы.

Дни и ночи проводил Кокия в своей каморке, изучая, собирая и складывая разрозненные листки, страницу за страницей, строку за строкой. Потом он очищал уже собранные книги от пыли и желтизны каким-то, одному ему известным способом. Потом делал к ним необыкновенно красивые переплеты. Прекрасные, великолепно оформленные книги возникали из хаоса пожелтевших клочков! Верующие евреи считали это чудом.

Воскрешенные сизифовым трудом молитвенники продавались не очень ходко. Потребность в них была не велика, так как один и тот же молитвенник нередко

служил отцу и сыну, внуку и правнуку. Однако, невзирая на скудность своего дохода, Кокия не желал расстаться с любимым делом.

Община, державшая на учете всех своих умалишенных, бедняков, больных и беспомощных, могла и хотела содержать Кокия. Но, несмотря на безысходную бедность, он категорически отказывался от всякой помощи из синагоги.

В нем была какая-то непреклонная гордость. За глаза его все жалели, но встретившись с ним лицом к лицу, никто не смел выразить ему жалость или сочувствие. Наоборот, — у некоторых он иной раз вызывал желание поклониться ему с почтением!

Раненный людьми в самое сердце, убежавший от них навсегда, этот одинокий человек, мудрец или безумец, привязался только к Герцелю. Только с ним он часами беседовал о своем любимом занятии, о своих любимых произведениях. Герцель приносил ему из огромной отцовской библиотеки еврейские философские книги: тот их моментально проглатывал. Только из рук Герцеля он принимал преподношения, которые наша мама по пятницам и в канун еврейских праздников постоянно посылала ему, как и многим другим. Герцель нередко спасал его от преследований дворовых мальчишек, которые со свистом гонялись за ним, стоило только ему показаться на улице. Но появлялся Герцель — и вся орава моментально рассыпалась.

И вдруг Кокия исчез. Прошел месяц, потом другой, а он не появлялся. Пронесся слух, что Кокия умер в дороге и евреи похоронили его. Но однажды к хозяину нашего дома пришел крестьянин-грузин и сообщил, что Кокия лежит больной во дворе постоялого дома в деревне Чребало, по дороге из Они в Кутаиси.

Отца в то время не было дома. Помню, как Герцель умолял маму разрешить ему поехать с двумя товарищами за больным Кокией. В конце концов мама дала ему денег, и на рассвете он выехал в фазтоне в Чребало вместе со школьным товарищем и одним пожилым евреем.

Солнце уже садилось, когда на площади перед нашим домом неистово заорали мальчишки:

— Кокия воскрес! Кокия воскрес!

Мы выбежали на балкон и увидели, что люди с трудом снимали с фазтона больного Кокия. Герцель нес его мешки, полные рваных книг и пожелтевших листов. Вскоре Герцель привел к нему друга нашей семьи, старого фельдшера, князя Сандро. Старый добрый Сандро, лечивший безвозмездно от всех болезней, и подросток Герцель в течение двух дней не отходили от Кокия, пока тот окончательно не выздоровел.

Выяснилось, что бедный Кокия не рассчитал своих сил. Он ходил из местечка в местечко пешком, по горам и перевалам. А ноша его тяжела, и тащить ее под палящим солнцем становилось все трудней и трудней. Наконец он, совершенно изможденный да, вероятно, и голодный, упал без сознания у какого-то крестьянского двора.

Никогда никто не видел плачущего Кокия. Но январским утром 1922 года, когда Герцель навсегда уезжал из Они, Кокия стоял во дворе и горько рыдал. Как сейчас вижу лицо этого странного человека, когда он с молитвой возложил руки на голову Герцеля, благословляя его.

Когда в 1927 году Герцель окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета, Народный комиссар юстиции Яша Вардзиели сразу назначил его народным судьей в составе Объединенного городского суда г. Тбилиси.

Такое явление, как беспартийный судья, конечно только по общеуголовным делам, тогда еще было обычным. Все политические дела находились исключительно в ведении ГПУ.

В те времена народные судьи не были так страшно перегружены делами, как впоследствии, когда по

мере роста и укрепления социализма стала фантастически расти преступность. Судьи пользовались большим моральным авторитетом среди населения. Дела рассматривались в кратчайшие сроки, а сам процесс судопроизводства был очень упрощен.

Однако на судейской должности Герцель пробыл не более шести месяцев, так как скоро обнаружилось, что он очень далек от призвания осуществлять советское правосудие.

Нарком Яша Вардзиели шутя обозвал Герцеля "новым Христом", который не оставит в тюрьме ни одного заключенного, и перевел его на должность ответственного секретаря учрежденного тогда журнала "Советское право и строительство".

Но за эти шесть месяцев Герцель завоевал большую популярность среди заключенных. Они считали его "добрым и сердечным" судьей и всячески ухищрялись, чтобы попасть в его руки.

Однажды во время судебного заседания подсудимый передал Герцелю записку из тюрьмы. На клочке бумаги было написано, что к нему с просьбой о помощи обращается старый еврей Инди-Бой из города Они.

В тот день Герцель вернулся домой очень взволнованным. А когда он сообщил, что Инди-Бой в тюрьме, — в доме поднялся настоящий переполох.

В многие дома города Они, в том числе и в наш, речную воду приносил пожилой водонос. Как и многих евреев в этой общине, водоноса никто не звал по имени и фамилии, а звали по кличке: Инди-Бой. Это был уже седой, круглый и приземистый крепыш. Ежедневно, кроме субботы и еврейских праздников, Инди-Бой с восхода до заката солнца ходил по улицам Они с двумя полными бачками, с поразительной ловкостью и легкостью взлетая с этими бачками по высоким лестницам. Он был грузный, толстый; старая рабочая чоха, полинявшая и изодранная, давно уже не сходилась на нем, и он подпоясывал ее веревками.

Но в материнском сундуке у него хранилась праздничная темнокрасная чоха с позументами. В ней он дважды стоял под хупой. По субботам и праздникам он вытаскивал ее и, разодетый, торжественно отправлялся в синагогу.

Говорили, что в молодости он женился на очень красивой бедной девушке-сироте. Она умерла. Он женился на ее сестре, но и эта прожила недолго, тогда он в третий раз пришел к своей теще:

— Дорогая теща! Бог дал мне жену, но Бог взял ее обратно. На то Его воля. Дай мне еще одну дочь, и я больше никогда не буду просить.

Но теща, у которой осталась единственная, самая младшая и самая красивая дочь, вдруг заупрявилась и отказала Инди-Бою.

— Видно, Бог не хочет, чтобы у тебя была жена. А я не хочу лишиться моей последней радости.

После этого никто уже не решался выдать дочь за Инди-Боя. Так и остался он совершенно одиноким в своей деревянной хибарке.

Жизнь Инди-Боя была так же однообразна, как течение Риони, с которой он не расставался уже никогда.

Каждый день он начинал с утренней молитвы в синагоге: свои пустые бачки он оставлял во дворе. Потом он разносил по домам воду, до следующей молитвы — минхи; пустые бачки опять ждали его во дворе синагоги. После минхи и до самой вечерней молитвы он снова шагал по улицам города со своими бачками. И лишь после вечерней молитвы, когда уже становилось опасно ходить к реке, он возвращался в свою конуру. Так и шло его земное существование между бурлящей рекой и синагогой.

Когда Инди-Бой появлялся у нас со своими бачками, мама всегда сажадала его за стол и угощала горячей едой. Так поступали во многих семьях. Не знаю, какова была расценка его услуг, но хорошо помню, что в оплате всегда фигурировал серебряный гривеник. В конце недели или месяца с ним расплачива-

лись исключительно серебряными гривенниками, поскольку деньгами других знаков и достоинств он пользоваться не умел.

Раз уж так сложилась жизнь Инди-Боя, что он питался в домах, куда привозил воду, а больше тратить ему было не на что, то он и копил свои трудовые гривенники в глиняных горшках-копилках на черный день, когда старый и немощный, он больше не сможет таскать воду.

Осенью 1927 года по Грузии прошла первая "валютная кампания". Вначале у людей просто отбирали золотые вещи, потом заподозренных в нарушении правил о валютных операциях стали привлекать к судебной ответственности и приговаривать к разным срокам заключения. Кампания эта приняла особенно острый характер, когда было замечено, что из обращения стали исчезать серебряные монеты.

Строгая секретная директива сверху о "немедленном выявлении злостных нарушителей" поступила, разумеется, и в город Они. В положенный срок найти нарушителей не сумели. И тут кто-то из следственно-прокурорских работников "пошутил" и предложил взять Инди-Боя.

Поздно ночью в гости к Инди-Бою пожаловали работники местного отдела ГПУ. Они обыскали его скудную хибарку, нашли глиняные горшки, не вникая слезам и мольбам Инди-Боя, разбили их — и оттуда на пол со звоном полетели серебряные гривенники, копившиеся еще с николаевских времен. Все они были сосчитаны и добросовестно заактированы. Инди-Боя арестовали и привлекли к уголовной ответственности за "подрыв экономической мощи государства".

Акт, в котором было зафиксировано обнаруженное у Инди-Боя "большое количество серебряных монет", совершенно заслонил живого, всегда полуголодного человека в лохмотьях, который зимой и летом таскал бачками воду. Все знали, что люди кормили его из жалости и только это и дало ему возможность сэкономить гривенники себе на погибель! Но акт так давил

на сознание судебных работников, что совершенно притупил их совесть.

Суд первой инстанции г. Они приговорил Инди-Боя к трем годам заключения. Затем приговор этот, оставленный без изменения всеми высшими инстанциями, вошел в законную силу.

И впервые в своей жизни наивный и богобоязненный Инди-Бой ушел за реку Риони, чтобы этапом отправиться в тбилисскую тюрьму, где он попал в страшный и непонятный для него мир преступного люда.

...По действующему тогда процессуальному закону Народный комиссар юстиции был правомочен опротестовать в Пленум Верховного суда приговор, вступивший в законную силу.

Не знаю точно, как это произошло. Помню только, что Герцель не успокоился до тех пор, пока не убедил Наркома юстиции в абсурдности приговора Инди-Боя и не добился от него решения опротестовать этот неправосудный приговор.

После этого Герцель постарался, чтобы протест по делу Инди-Боя был рассмотрен вне очереди на ближайшем же Пленуме Верховного суда. Он хорошо понимал, что как рыба не выдержит без воды, так и Инди-Бой долго не выдержит без своей реки Риони и своей синагоги и быстро погибнет в тюремной атмосфере. Помимо всего, он не выдержит голода, потому что не только не будет есть трэфной тюремной пищи, но не дотронется даже до "гойского хлеба". В тот период еврейская община Они еще не привыкла покупать в магазинах "нееврейский хлеб". Все пекли у себя дома хлеб и кукурузу.

Наконец настал день, когда Герцель держал в своих руках Определение Пленума Верховного суда об отмене приговора и прекращении дела в отношении Инди-Боя. И, чтобы ускорить его освобождение, он сам поехал за ним в тюрьму.

Никогда не забуду того дня, когда Герцель в фазтоне привез домой несчастного Инди-Боя. В первую минуту мы даже не узнали его: не только голова, но и борода и длинные свисающие усы его совершенно побелели. Он до того исхудал, что изодранная чоха теперь и без помощи веревок совершенно свободно сходилась на его животе. В глазах стоял неопикуемый страх. Он не отпускал руку Герцеля, а если тому все-таки приходилось выйти из комнаты, начинал дико озираться по сторонам. Он боялся — вдруг его снова схватят, уведут и водворят в тюрьму! И только тогда, когда он увидел нашу маму, он дал волю накопившимся чувствам — страху, радости, надежде — и безудержно разрыдался. В этом старом, жалком человеке было очень много детского. Впервые тогда мне довелось увидеть, как человек выражает свою радость рыдая. Он и раньше картавил и немного заикался. Теперь он стал заикаться еще сильнее и все повторял: "Гельцелука, Гельцелука!" Так он называл Герцеля.

В тот день, впервые в своей жизни, Инди-Бой попал в знаменитые тбилисские серные бани, куда его по просьбе Герцеля взял один из наших соседей. Среди знакомых евреев раздобыли подходящие для его фигуры старое пальто и пиджак. И когда Инди-Бой впервые одели в европейскую одежду, никто уже не пытался сдерживать смех, глядя на старого водоноса, который, состарившись в чохе, вдруг стал "модником".

Вымытого, накормленного и переодетого Инди-Боя отправили домой вместе с двумя евреями, которые в тот день возвращались в Они. Инди-Бой попросился со всеми нами; Герцеля с трудом вырвали из его объятий; наконец его усадили в фазтон рядом с хорошо знакомыми ему онийскими евреями. Герцель, стоя у ворот, махал ему вслед. Вдруг Инди-Бой "выбросился" из фазтона. Фазтон уже набирал скорость; Инди-Бой не удержался, потерял равновесие и упал на асфальт; поднялся общий крик, но невредимый Инди-Бой вскочил на ноги, бросился к Герцелю и



опять повис у него на шее! Не обращая внимания на вызванное им волнение, он повторял: "Герцелука, Герцелука". Казалось, будто самое важное в его жизни оставалось здесь, и он не спешил туда, куда увозили его лошади.

Почему же теперь, в Москве, из глубины памяти вдруг вынырнули давно позабытые лица, и среди них смешной Инди-Бой и странный Кокия? Почему люди из ближайшего окружения Герцеля, даже когда-то самые преданные ему друзья, не вспоминаются, блекнут, уходят все дальше и дальше?

Эти люди, талантливые и образованные, знают жизнь, знают, что по мановению руки обожествленного смертного гибнут таланты; знают, что каждый стоит на краю пропасти. Знают, но осознать этого не могут, и в безумном страхе прячутся от реальности и стараются не знать настоящей правды.

А вот Кокия или Инди-Бой не понимают нашей реальности и не боятся ее, потому что им нечего терять. Они теперь очень далеки от меня. Но я знаю, — будь они здесь и скажи я им страшную правду о Герцеле, они бы не испугались и не убежали. Они бы разорвали на себе одежду, посыпали пеплом голову, сели бы на землю и горько зарыдали.

По расписанию, мама должна была приехать в Красноярск 19 июня — через пять дней после отъезда из Москвы. С самого утра 20 июня мы с Меером стали ждать телеграммы. Но телеграмма не пришла. Всю ночь с двадцатого на двадцать первое мы с Меером волновались и не спали. Вестей от мамы не было.

Пожилая, уже полуослепшая, больная мама даже из синагоги или из оперного театра никогда не возвращалась одна: с ней шел Герцель или кто-нибудь из нас, а теперь она — жена и мать репрессированных, абсолютно незащищенная, совершенно одинокая, едет в добровольную ссылку.

Была суббота, 21 июня. Около девяти часов вечера в комнате раздался оглушительный звонок. Мы кину-

лись к двери — ведь мы ждали телеграммы! Но, нет. Это звонил телефон, по-видимому, междугородний. Наверное, Тбилиси: домашние спрашивают, какие вести от мамы...

Но, Боже! Какое чудо! Я слышу голос отца. Из далекого Красноярска с нами говорил отец! Вырывая друг у друга телефонную трубку, мы с Меером от волнения с трудом воспринимаем слова отца; мама прибыла благополучно, прибыл также и багаж целиком и полностью.

— Но зачем, зачем, — в который раз переспрашивает меня отец, — ты все это делала? Почему надумала присылать продукты в таком количестве? Ведь тебе было бы легче время от времени, понемногу...

Странно! Нас теперь совершенно не волнует судьба багажа, который я с такими невероятными усилиями заготовила и отправила. Мы хотим только понять: каким образом отец попал из далекой Большой Мурты в краевой город Красноярск?!

Одному Богу известно, чем он заморозил красноярских чекистов, которые разрешили ему приехать в центр, чтобы встретить маму и позвонить нам. В Грузии в те времена ни один чекист не решился бы на то, на что отважились в сибирской глуши.

Поистине прав был Александр Шульгин, когда писал: "Ты зверь — русский человек! Но самый добрый зверь!". Даже среди сибирских чекистов нашелся добрый зверь. Но и на этот раз, как тогда, во время нашего свидания в Тбилиси, перед этапированием, отец не спросил о Герцеле, даже не упомянул его имени. Тогда он настоятельно умолял меня уехать в Ленинград, вернуться к работе. А сейчас ни слова вопроса, что произошло со мной, и зачем я переехала из Ленинграда в Москву!

Тогда он просил меня бросить все и вернуться домой в Ленинград потому, что уже знал правду о Герцеле. А теперь не спросил, почему я уехала из Ленинграда, — ибо понял, что я тоже узнала правду. На расстоянии, без слов, он понял все. В письме к Мееру

он написал: "Бог тогда спас ее от нашей участи. Но мы отняли у нее все в жизни!"

...Поздно вечером я вернулась домой, на Кировскую улицу. По дороге в метро я почувствовала, что сегодня мне удастся спокойно заснуть, хоть на несколько часов...

Завтра — 22 июня — мы с Меером договорились навестить друга отца, профессора Видрина. Профессор Видрин считался крупнейшим геологом в Москве. Но в связи с тяжелым заболеванием сердца он уже год как ушел с работы и лежал у себя дома. Профессор Видрин вместе с отцом долгие годы был подпольным сионистским борцом. По сионистским делам он несколько раз приезжал в Тбилиси и всегда останавливался у нас. Отец очень уважал его и считался с его мнением. Теперь Меер поддерживал самые тесные дружеские отношения с ним и его сыном.

Воскресное утро 22 июня 1941 года в Москве было на редкость теплым и мягким, благоуханным. Такими там иногда бывают дни раннего лета.

Всякий, кто в то утро находился в Москве, наверняка запомнил ее веселой и ликующей. Из открытых окон неслись песни, по-летнему одетые москвичи тысячами устремлялись на загородные прогулки, на рыбалку, на стадионы...

Около одиннадцати часов Меер зашел за мной. Он все еще находился под впечатлением телефонного разговора с отцом и заранее представлял себе, как обрадуется профессор Видрин, который так горько сокрушался, когда отец сидел в камере смертников.

Я вышла на кухню и стала готовить завтрак Мееру.

И вдруг Меер громко позвал меня. В голосе его было что-то настолько необычное, что я сразу бросила все и вбежала в комнату.

Страшно побледневший Меер стоял у радио.

Выступал Молотов. Он сообщил, что на рассвете фашистская Германия напала на Советский Союз.

Началась война.

## ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

С трепетом душевным принял я предложение Фаины Баазовой написать послесловие к этой книге, предложение, которое я считаю для себя большой честью.

Имя Баазов высечено на скрижалях героизма и самопожертвования нашего народа. Оно является одним из наиболее выдающихся и известных имен в истории грузинской еврейской общины. Место Давида Баазова в истории сионизма в Грузии и место Герцеля Баазова в грузинско-еврейской культуре — это темы для большого серьезного исследования, которое, разумеется, не может быть сделано в рамках этого послесловия. Трагедия дома Баазовых во времена "великого террора", как принято называть период советской истории между 1936 и 1938 годами, описана Фаиной Баазовой с такой силой, выразительностью и достоверностью, что едва ли остается место для дополнений.

Однако имя Баазов вот уже около тридцати лет вплетено в мою жизнь. И вот об этом и только об этом я расскажу здесь, не претендуя ни на что большее.

В конце 1948 или начале 1949 года я, тогда студент Московского университета, листая журналы по востоковедению, выходившие в СССР в конце 20-х — начале 30-х годов, наткнулся в одном из них на отрывок из романа о жизни грузинских евреев, носившего название "Петхаин". Над отрывком стояло имя автора — Герцель Баазов. Я был тогда уже достаточно "обращен", чтобы догадаться, что автор этого романа — еврей, названный Герцелем в честь основателя движения, которое совсем недавно добилось создания Еврейского государства, и что фамилия Баазов происхо-

дит от библейского имени Боаз. Я принялся искать этот роман, но не нашел ни в одной библиотеке. Тогда я стал наводить справки об авторе. В энциклопедиях, обзорах и университетских курсах по грузинской литературе, изданных в конце 30-х и в 40-х годах, он не упоминался, в некоторых же изданиях подобного рода, увидевших свет в первой половине 30-х годов, его имя прославлялось.

Я вырос в большом доме в центре Москвы. Дом этот плотно заселяли около ста семейств политэмигрантов, которые либо сами бежали в "столицу мирового пролетариата", либо были вызваны советским руководством в 20-х и в начале 30-х годов. К концу 1937 года во всем доме осталось только четверо мужчин. Все остальные — в том числе и мой отец, да отомстит Господь за его кровь, — были арестованы Народным Комиссариатом Внутренних Дел (НКВД, ныне КГБ) и бесследно исчезли. Итак, мне было нетрудно сообразить, что судьба этого так тщательно замалчиваемого писателя такова же, как судьба мужчин нашего дома.

Роман я прочел в 1952 году. Осенью того года нас — группу сотрудников Академии Наук Таджикской ССР — послали на сбор хлопка в колхоз в Вахшской долине, недалеко от афганской границы. Колхоз этот был основан в начале 30-х годов русскими "раскулаченными", сосланными сюда из центральной России. В то время это была безжизненная пустыня. Ссылные выкопали здесь ирригационные каналы. Большинство их при этом умерло. Те же, кто остался в живых, были названы "колхозом им. Москвы", и им было велено выращивать хлопок. В 1941 году сюда были сосланы немцы Поволжья; в 1944 — крымские татары, греки с юга Украины и даже небольшая группа голландцев — население двух голландских хуторов, существовавших на Украине с конца XVIII века; в 1945 году сюда были доставлены болгары из Бессарабии. Многие из этих ссыльных тоже умерли. В 1950 — 1951 годах сюда было привезено маленькое

племя с гор Памира — язгулемцы — и горные таджики из Куляба. Большинство язгулемцев и часть кулябцев также погибли: горцы просто-напросто не могли здесь жить. Среди хлопковых полей колхоза были разбросаны кладбища — для каждой группы свое. Живые, однако, жили вместе и работали вместе, а на собраниях, проводившихся в клубе по меньшей мере раз в неделю — и по-русски, вместе клялись в вечной любви к коммунистической партии, советской власти и другу всех народов — товарищу Сталину. В клубе, представлявшем из себя убогий барак, помещалась также и библиотека: два шкафа, стоявшие в небольшой отдельной комнатке. Один шкаф, сделанный из хорошего дерева, был застеклен и всегда заперт на замок. Через стекло можно было разглядеть его содержимое: тома полных собраний сочинений Ленина и Сталина по-русски и по-таджикски. Второй шкаф, сделанный из фанеры, был всегда открыт, и всякий мог вынуть оттуда любую понравившуюся ему книгу, записать свое имя у библиотекаря-таджика, с трудом умевшего читать, и взять книгу домой. Выбор был небогат: большая часть книг была почему-то на узбекском языке ( в колхозе вообще не было узбеков), немного — на таджикском и еще меньше — на русском. Я обратил внимание на одну обернутую толстой черной бумагой книгу, стоявшую среди узбекских книг. Раскрыл ее — и не поверил собственным глазам: это был русский перевод книги Герцеля Баазова "Петхайн", опубликованный в Москве в 1936 году. На обратной стороне обложки витиеватым почерком было написано по-русски: "Из книг Григория (насколько мне помнится) Бухникашвили. Гагры, 1937". Кто был этот Бухникашвили из курортного города Гагры на берегу Черного моря? Что связывало его с этим лагерем ссыльных, именуемым "колхозом им. Москвы"? Если не он, то кто привез сюда эту книгу? Я пытался выяснить у тех немногих оставшихся в живых русских — "отцов-основателей" колхоза — высылались ли сюда когда-либо грузины. Нет, ответили мне, никог-

да не было здесь ни одного грузина. А грузинские евреи?

”Ты разве не знаешь, что тех из них, кого сослали, сослали в Баран-Баджан!” — сказал мне один тоном, не допускающим возражений.

”Ну, а какие-нибудь еще кавказцы?”

”Были здесь чеченцы, — ответили мне, — совсем немного их было, но это были бандиты! Боже мой, что за бандиты это были! Все их боялись. Их привезли сюда в 1944 году, а в 1945 все они исчезли в одну ночь, вместе со своими стариками, женщинами и детьми. Хотели уйти в Афганистан. Перестреляли их всех у самой границы...”

”Не всех, — перебил его другой, — одному — говорят, что он был поэтом — удалось переплыть реку. А, может, и еще кому-нибудь с ним вместе... Поэт этот нынче, говорят, живет в Америке и занимается антисоветской пропагандой”.

Неужели этот мифический чеченский поэт завез сюда книгу Баазова? Такой вариант казался мне слишком маловероятным. Что чеченскому поэту (если таковой вообще был здесь) до романа о грузинских евреях? И почему этот роман оказался именно среди узбекских книг?

Я рискнул показать книгу русской паре, известной своим пристрастием к чтению. Они в один голос утверждали, что никогда не видели ее среди русских книг, и просили сообщить им, когда я верну ее в библиотеку, чтобы и они могли ее прочесть. Поволжским немцам ничего не было известно о книге. Спрашивать остальных не имело смысла: они не читали по-русски.

Загадочность путей, которыми эта книга попала сюда, в это Богом забытое место, и тот факт, что она была запрещена, как будто обострили, углубили и усилили наслаждение от чтения. Перед моим пораженным взором жило, трудилось, печалилось, веселилось, страдало, кричало, молчало, любило, ненавидело племя моего народа, о котором я почти ничего не знал. Цвета были резки, почти без оттенков (позже, побывав в

Грузии, я понял, что автор воспринял эти цвета от самой грузинской природы); картины — экзотичны; сцены полны напряжения; диалоги — драматичны и по-восточному красноречивы. Положительные герои были не только положительны, но и прекрасны, и по-рыцарски благородны; отрицательные герои были отрицательны во всем. В романе чувствовались, разумеется, и влияния той эпохи, когда он создавался, но я не обращал на них внимания, настолько я был зачарован этой книгой — такой еврейской и такой грузинской одновременно, — которую мне довелось читать здесь, среди интернационала отверженных, в оазисе посреди пустыни, ночью, при свете единственного электрического фонаря, висевшего на высоком столбе в центре селения.

Осенью 1955 года в столице Таджикистана Сталинабаде проходила всесоюзная конференция, посвященная исследованию национальных литератур народов СССР. Такого рода конференции устраиваются в Советском Союзе раз в год или два, и честь проводить их предоставляется поочередно всем союзным республикам, причем соблюдается строгий порядок в иерархии оказания этой чести той или иной из них. Я присутствовал на этой конференции в составе делегации Таджикской ССР. То был один из наиболее странных периодов новейшей истории СССР. Прошло уже более двух лет с тех пор, как Сталин занял свое место в аду. Газеты много писали — не называя имени умершего диктатора — о чем-то весьма неопределенном, но в то же время малосимпатичном, именуемом "культом личности", и рассуждения об этой "бьяке" были всегда самыми философскими и абстрактными. Хрущев еще не произнес своей знаменитой тайной антисталинской речи — до XX съезда КПСС, на котором она должна была прозвучать, оставалось еще несколько месяцев. Но, разумеется, ни для кого не было секретом, кем именно была эта анонимная личность, против культа которой восставала теперь, когда личности уже не было в живых, вся советская пресса. Начался уже процесс "реабилитации" — пересмотра дел тех, кто был осужден



во времена Сталина как "враг народа" — и уже начали возвращаться из тюрем и лагерей те немногие, кто остался в живых. В довольно широких кругах ходили уже рассказы об ужасах, творившихся за решетками и колючей проволокой. Одни ошеломляющие слухи теснили другие, не менее ошеломляющие: поговаривали о том, что реабилитируют Троцкого, Бухарина, Каменева и всех прочих вождей большевистской революции, убитых по приказу Сталина; о том, что их строго-настроено запрещенные сочинения будут переизданы и введены в университетские курсы в качестве обязательной учебной литературы; о том, что годовщины февральской революции будут праздноваться наравне с годовщинами октябрьской революции; о том, что арестованы, якобы, все, кто при Сталине работали в НКВД и МГБ, и т.д., и т.п. И вместе с тем, громадные портреты Сталина по-прежнему висели повсюду, его бюсты и статуи стояли в каждом городе, большом и малом, а сотни тысяч учеников средних школ, студентов высших учебных заведений и учащихся "сети партийно-политического просвещения" зубрили его творения и сдавали по ним экзамены.

Парадоксы времени нашли свое отражение и на конференции. Если кто-нибудь когда-нибудь напишет объективную историю советского литературоведения и советской литературной критики, возможно, он определит эту конференцию как начало отхода от известной сталинской формулировки, гласившей, что культуры советских народов являются национальными по форме и социалистическими по содержанию. Один за другим поднимались на трибуну литературоведы, сыны разных народов — маститые "больше" и маститые "меньше," — и, оборотившись к аудитории лицом, а к портрету Сталина задом, высказывали — кто посмелей, кто более робко, с опаской — еретическую мысль, что не только форма культуры, но и содержание ее могут быть национальными. И Сталин вонзал им в спины свой всеподозревающий взор, и губы его, казалось, шептали под усами: "Жаль, что я не прикончил и

тебя!”. Не все, разумеется, отрицали учение, которое еще вчера было святым. Были и такие, что защищали каждую букву этого учения. Однако они были в меньшинстве, и в словах их слышалась неуверенность: кто знает, может быть, завтра действительно отменят учение Сталина, кто знает? Особенно выделялся в этой группе один еврей, в прошлом ведущий деятель партийной верхушки Таджикистана, а ныне исследователь таджикской литературы, помнивший наизусть большинство сочинений Сталина и еще не так давно любивший щеголять своей эрудицией. Но большинство выступавших, как я уже говорил, совершенно “распоясалось”.

Особенно выделялся один соотечественник Сталина, известный грузинский литературный критик. “Настало время положить конец догматизму! — кричал он с трибуны, обращаясь к предыдущему оратору, тому самому еврею — знатоку сталинских трудов. — Судя по возрасту товарища Б. (он назвал фамилию знатока), он не относится к тем сынам своего древнего и гордого народа, которые не знакомы ни с его языком, ни с его культурой. (В эту секунду я глянул на товарища Б. Тот буквально замер на месте от страха и растерянности. Он молчал. И вся аудитория будто застыла. В зале воцарилась глубокая тишина: в те дни еврейская тема была еще “табу”). Скажите, пожалуйста, товарищ Б., в чем проявляется национальный характер литературы еврейского народа?” (Тут товарищ Б. вышел, наконец, из состояния оцепенения: “Моей родной культурой является русская культура!” — прокричал он с сильным идишистским акцентом).

“Хорошо, — сказал грузин, — но как человек широких культурных горизонтов, вы, — надеюсь, согласитесь со мной, что национальный характер проявляется не только в языке, хотя, как нам известно из трудов товарища Сталина по языкознанию, именно язык — это прежде всего форма каждой национальной культуры. Ведь то, что национально в еврейской литературе, проявляется прежде всего в ее содержании:

Шолом-Алейхем писал на разговорном еврейском языке (он имел в виду идиш), а Бялик — на древне-еврейском (так именовали тогда в Советском Союзе иврит), но несмотря на различие языковых форм, произведения обоих являются еврейскими по содержанию (самый факт произнесения этих слов во всеуслышание поразил меня: в 1948 году, во время "кампании по борьбе с космополитизмом" Бялик именовался врагом советской власти, реакционером, буржуазным националистом и т. п., и сборник его стихов в русском переводе Владимира Жаботинского лежал у меня спрятанным. Сборник этот я приобрел странным и даже таинственным образом в 1946 году, но здесь я не стану рассказывать об этом)". Тут товарищ Б. вскочил со своего места и произнес, громко подчеркивая каждое слово: "Товарищ председатель! Я категорически протестую против весьма странной позиции, которую занял здесь товарищ Ж. (он назвал фамилию грузина). Под видом научной дискуссии он пытается проташить с заднего хода сомнительного и бездарного виршеплета, врага советской власти, реакционера и оголтелого еврейского буржуазного националиста!"

"Удивляюсь я вам, уважаемый товарищ Б., — парировал его атаку Ж., — как это вы, столь великий знаток первоисточников, столь вопиюще непростительно искажаете слова, — тут он перешел на патетическую декламацию, — основоположника многонациональной советской литературы, основателя системы социалистического реализма Алексея Максимовича Горького! Разве вы не помните, что Горький назвал Бялика не "сомнительным и бездарным виршеплетом", но "почти гениальным поэтом"? Но если вам почему-то неприятно слышать имя Бялика, возьмем другой пример. Был у нас в Грузии молодой писатель и драматург — великая гордость и надежда нашей литературы. К нашему сожалению и стыду, да, к стыду нашему, его судьба была такой же, как судьба других безвинно арестованных и расстрелянных". Он помолчал несколь-

ко секунд, склонив голову. Намек его был понят всеми, в атмосфере тех дней он был весьма и весьма ясен. Я же, все еще не веря своим ушам, подумал: вот, сейчас этот грузин будет говорить о Герцеле Баазове! Ведь связующая нить ясна: еврейская литература — многоязычие — еврейский писатель, пишущий по-грузински. Боже мой, невероятно!

”Я говорю ”гордость и надежда нашей литературы”, — продолжал Ж., — потому, что его грузинский язык был чист как вода наших горных источников и сладок как поцелуй наших девушек. И вместе с тем он был еврей (вот оно — он говорит о Баазове, пронеслось в моем мозгу), и темы всех его рассказов и единственного романа, который он успел опубликовать, были еврейскими. Произведения этого писателя являются грузинскими по форме, и, разумеется, социалистическими, — добавил он, не желая заходить слишком далеко, — но также и еврейскими по содержанию. Что можете вы, догматики, знающие наизусть первоисточники, но лишенные способности мыслить самостоятельно, ответить на это?!” Он бросил взгляд на Б. Близорукий, в очках с толстыми стеклами, которые, наверняка, немногим могли ему помочь, Ж. скорее догадался, чем увидел, что тот раскрыл уже рот для ответа. Но недаром сыны Грузии славятся своим ораторским искусством. Ж. повысил голос, который гремел теперь как гром в зале заседаний здания Академии Наук Таджикской ССР. Я сидел у приоткрытого окна и, глянув наружу, увидел, что на улице уже начали собираться удивленные прохожие. ”Имя этого писателя — нашей гордости и нашей надежды, звезды нашей литературы, которой не дано было проявить себя во всем своем сиянии, — имя этого писателя Герцель Баазови (так, по-грузински, он произнес это имя). Он пал жертвой правонарушений периода культуры личности”. (То был первый раз, когда я услышал это выражение. Может быть, сам Ж. и изобрел его спонтанно, тут же на месте? Не знаю. Выражение это быстро стало общепринятым языковым оборо-

том). Выступавший еще более повысил голос: "Не смотря на всю трагичность его судьбы, я счастлив сообщить вам с этой трибуны, на этой всесоюзной конференции, что Герцель Баазов недавно реабилитирован, и его имя снова займет свое место на доске почета нашей литературы". Он помолчал долю секунды, на его губах появилась тонкая циничная усмешка — появилась и тут же исчезла — и закричал во всю силу своих легких: "Да здравствует советское правосудие! Да здравствует всепобеждающее марксистско-ленинское учение! Да здравствует Центральный Комитет Коммунистической Партии Советского Союза, ведущий нас от победы к победе!"

При жизни Сталина выступления заканчивались лозунгами: "Да здравствует гений всего человечества (или что-нибудь феерическое в том же роде) товарищ Сталин!" Все вставали и хлопали в ладоши до изнеможения. После смерти Сталина его место в "да здравствует" занял Центральный Комитет.

Все встали и прилежно зааплодировали. Сам Ж. тоже аплодировал, стоя на трибуне.

На следующий день, часа за полтора до начала заседаний, я встретил Ж. на улице. Он шел неуверенными шагами очень близорукого человека, не знакомого с местом. Я подошел к нему, представился, добавил, что я местный житель, спросил его, куда он держит путь, и предложил ему себя в провожатые — показать то, что в этом городе стоит посмотреть. "Я шатаюсь просто так, безо всякой цели, — сказал он, — буду рад вашему обществу".

Некоторое время мы шли молча. Я высказал ему восхищение смелостью его вчерашнего выступления, в особенности, как человек, читавший Герцеля Баазова, и — добавил я после минутного колебания — как еврей. "Смелость? Какая смелость? — он горько улыбнулся. — Я и смелость — суть две несовместные вещи. Будь я смел, меня давно бы уже расстреляли, или я просто умер бы под пытками, как Герцель. Вы знаете, как его умертвили? Он отказался подписать сочинен-

ный следователем протокол допроса, и тогда они подвесили его за ноги и стали бить, а потом оставили висеть так, пока у него глаза не вышли из орбит и не лопнули вены на висках. (Эту версию о смерти Герцеля Баазова под пытками я слышал впоследствии неоднократно и от грузинских евреев в Москве, и от моих тбилисских друзей, и от его родственников. Каков ее источник — никто не знал). Какой это был человек, ах, какой человек! Красавец, всеобщий любимец, остроумный, балагур. А какой он был тамада! Какие тосты произносил — изысканные, виртуозные! В этом деле у него не было соперников. А каким другом он был! Если у него с кем-нибудь завязывалась дружба — это была дружба навеки. Мы учились на одном факультете, на юридическом. Были друзьями. Он был на год моложе меня. И вот я жив, а его уже двадцать лет как нет. Когда его арестовали, я должен был кричать, сотрясти весь мир, доказать, что он невиновен, требовать, чтобы его освободили. Ничего я не сделал! Никто из нас, его друзей, не сделал ничего. Все мы дрожали от страха. Исчезло все наше грузинское рыцарство. Мы так наклали тогда в штаны, что до сих пор воняем и будем вонять до конца наших дней. Сколько задниц я вылизал, Боже мой, сколько задниц! Сколько дерьма я проглотил! Глотал и нахваливал...”

Он говорил, не останавливаясь, будто пытался этим бесконечным монологом избавиться от чего-то, что давно уже его мучило. Внезапно он умолк. ”Ну, ладно. Скоро начнется это окаянное заседание. Успеем мы?”

В 1957 году я вернулся в Москву. В тот год при большой московской синагоге открылась иешива. Большая часть учащихся была из Грузии, и главы московской общины старались поселить их в тех немногих еврейских домах, где еще хоть как-то соблюдались традиции. Так попал в однокомнатную квартиру моей, благословенна ее память, бабушки, юноша из Тбилиси, и через него установились у меня связи с несколькими грузинскими евреями, учениками иешивы. Имя Герцеля Баазова было знакомо им всем.

Один даже показал мне с гордостью "Песнь песней" в переводе Герцеля Баазова, изданную в 1927 году в Тбилиси тиражом в тысячу экземпляров. (Спустя несколько лет в Тбилиси один из моих тамошних друзей, мингрел — сын небольшого, родственного грузинам народа, литературным языком которого является грузинский, — восторженно декламировал мне наизусть целые главы из этого перевода). Но больше, чем о Герцеле Баазове, говорили они о его отце, раввине Давиде Баазове. От них впервые услышал я это имя. Все они, за исключением одного, о котором я подробнее расскажу дальше, отзывались о нем необычайно восторженно, с искренним глубоким уважением. Не скрою, что значительная часть их рассказов казалась мне тогда чем-то вроде "Шивхей Бешт"\* в грузинском изводе XX века. Только позже, изучая историю этой общины и роюсь в документах, я понял, что в основе большинства рассказов, которые, казалось, относились к области фольклора, лежат действительные исторические факты. Я обратил внимание на то, что часть рассказов была, очевидно, известна всем, а часть — только выходцам из определенных мест. Так, например, юноша родом из Цхинвали рассказывал, что в их городе живут еще старики, учившиеся в свое время вместе с Давидом Баазовым у его отца, хахама Менахема. По словам этого юноши, прежде, чем они успели выучить молитвы, Давид Баазов изучил уже все Пятикнижие с комментариями, а когда они приступили к изучению Пятикнижия, он успел уже изучить Пророков и Писания. И в это время прибыл в Цхинвали один ашкеназский раввин, рабби Аврахам Хволес, увидел одаренного мальчика и стал убеждать отца отправить Давида учиться в какую-нибудь российскую иешиву, как и приличествует тако-

---

\* "Шивхей Бешт" — сборник преданий и легенд об основателе хасидизма рабби Исраэле Баал-Шем-Тове (Беште) — (здесь и далее прим. переводчика).

му *илую\**. Это предложение было столь необычным, что хахам Менахем согласился на него только после долгих колебаний. Так Давид Баазов стал первым грузинским евреем, получившим звание раввина в российской иешиве (“И с тех пор, — добавил рассказчик, — это стало обычаем, и в этом смысле и мы продолжаем традицию, начало которой положил рабби Баазов”), и первым грузинским евреем, женившимся на ашкеназской девушке (спустя несколько лет сын рабби Баазова, Меер, сказал мне, что он не уверен, что его отец на самом деле был первым в двух этих областях, но, несомненно, он был одним из первых).

Рассказ другого юноши, родом из Ахалцихе, городе в южной Грузии вблизи турецкой границы, был похож на приключенческий роман. По его словам, рабби Баазов занимал пост раввина в ахалцихской общине в годы, когда политическая власть в тех местах была очень неустойчивой — царь был уже свергнут, и после прихода к власти Временного правительства, а тем более после октябрьской революции, грузины стремились (“разумеется”, — добавил рассказчик) добиться независимости. Но поскольку Ахалцихе расположен близ турецкой границы, а в самом городе и в его окрестностях было значительное мусульманское население, то и турки и ахалцихские мусульмане требовали передачи всего этого района Турции. Турки вторглись в Ахалцихе, опираясь на поддержку вооруженных отрядов местных мусульман. В городе ощущалось большое напряжение, и неприкрытая ненависть царила в отношениях между христианами и мусульманами. “Продолжение известно, — перебил я его, — евреи, разумеется, оказались меж двух огней и либо были перерезаны, либо бежали”. — “На этот раз ты не угадал, — ответил он, —

---

\* Илуй — отрок, наделенный необычайной ясностью ума и феноменальной памятью; термин применяется в основном в отношении к тем, кто с юного возраста выделяется своими глубокими познаниями в области религии.



продолжение было иным”. Мусульмане оказались сильней, и они — и местные мусульмане, и турки, и курды — принялись грабить и убивать христиан как грузин, так и армян, которые не были как следует организованы, не имели оружия, да и вдобавок еще и враждовали друг с другом. Но евреев и их имущества мусульмане, в том числе и известные своей дикостью и жестокостью курды, не трогали. Почему? А потому, что ахалцхские мусульмане очень уважали раввина Баазова за его необычайную мудрость — даже их мудрецы приходили к нему за советом. И у руководителей христиан он тоже пользовался большим уважением. И вот теперь обратились к нему христиане с просьбой помочь им и уговорить мусульман прекратить грабежи и убийства. Давид Баазов согласился взяться за это, отправился к главе мусульманской общины города, и тот приказал своей пастве прекратить грабежи и убийства. Так раввин Баазов спас от смерти христиан Ахалцхе и его окрестностей как грузин, так и армян. Таков был рассказ. Я слушал его тогда с известной долей скептицизма. Он показался мне типичным примером устного народного творчества. Однако не так давно Фаина Баазова показала мне воспоминания о ее отце, написанные грузинским генералом Маглакалидзе, который в 1917— 1918 годах занимал пост специального военного уполномоченного Временного правительства в мусульманских районах Грузии. Воспоминания этого генерала полностью подтверждают достоверность рассказа.

Некоторые из учащихся иешивы не раз пытались убедить меня в том, что раввин Баазов был близким другом Теодора Герцля и Хаима Вейцмана. Признаюсь, тогда я воспринимал их слова с недоверием. Но и эти рассказы в значительной степени подтвердились. Впоследствии, углубившись в источники конца XIX — начала XX века, я обнаружил, что Давид Баазов действительно по крайней мере дважды встречался с Биньямином Зеевом Герцлем и был знаком с Хаимом Вейцманом. Ничего удивительного, что народная память превратила знакомство и встречи в близкую

дружбу. Что же касается действительно близкой дружбы, то, по всей видимости, таковая связывала Давида Баазова с Менахемом Усышкиным\*. Об этом свидетельствует в одном из неопубликованных еще писем покойный Аврахам Карив\*\* : "Прибыв в конце 1934 года в страну из России, я отправился к Усышкину, чтобы передать ему привет от Давида Баазова. Из нашей беседы мне стало ясно, что Усышкин хорошо знаком с Баазовым". (Имя Усышкина было неизвестно мне в конце 50-х годов, и я почти уверен, что и моим собеседникам оно ничего не говорило. Вполне возможно, что в памяти народа облик Усышкина, известного вождя русских сионистов, слился с обликом другого, еще более известного вождя, — Хаима Вейцмана).

Совершенно уже фантастическим казался мне тогда рассказ о путешествии Баазова в Эрец-Исраэль в первые годы советской власти во главе группы репатриантов. Но в основе и этого рассказа лежали действительные события, в чем я убедился, читая книгу "Грузинские евреи в Грузии и Эрец-Исраэль" Натана Элиашвили, который вместе с Давидом Баазовым стоял во главе сионистского движения в Грузии после революции. Однако были в этом рассказе и типично фольклорные мотивы: мои собеседники утверждали — и такова была, несомненно, версия, которую они слышали от представителей старшего поколения, — что советские власти позволили группе евреев выехать из Грузии в Эрец-Исраэль по личному разрешению Серго Орджоникидзе (второй по значению грузин в официальной советской иерархии вождей октябрьской революции и большевистской партии; покончил с собой или, по упорным слухам, был умерщвлен людьми Сталина в 1937 году). По словам моих собеседников, Орджоникидзе очень уважал и ценил Давида Баазова и

---

\* Аврахам Менахем Мендель Усышкин (1863 - 1941) — один из лидеров российского сионизма.

\*\* Аврахам Ицхак Карив-Криворучко (1900 - 1976) — израильский писатель.

именно поэтому хотел оставить его в Грузии. А посему, позволив ему посетить Святую Землю, он не дал разрешения на выезд членам его семьи, и те остались в Тбилиси в качестве заложников.

Как я уже говорил, во всех этих разговорах никогда не принимал участия один из юношей. Всякий раз, когда заходил разговор о р. Баазове, он отмалчивался. Было видно, что он соблюдает традиции строже, чем остальные. Других я не раз видел с непокрытыми головами, и только во время еды, молитвы или похорон (и, разумеется, во время занятий в иешиве — но там я ни разу не был) они покрывали головы израильскими ермолками — кипами (кипы эти попали в Москву летом 1957 года, во время международного фестиваля "прогрессивной молодежи"). У него была небольшая борода, и характерная грузинская кепка всегда покрывала его голову. Каждый раз, когда я пытался выяснить причину его молчания — а я решался спрашивать, только когда мы оставались наедине, чтобы не ставить его в неловкое положение, — он отделялся уклончивыми ответами. И только к концу своего пребывания в Москве, — насколько мне помнится, это было в 1959 или 1960 году (ему не продлили временную прописку в Москве), вдруг сказал мне:

"Ты спрашивал, почему я молчу, когда другие хвалят раввина Баазова, и я не отвечал. Но за эти годы я узнал тебя достаточно хорошо. Я знаю, что ты интересуешься хасидизмом, и поэтому расскажу тебе то, о чем я обычно не рассказываю. Ты знаешь, что среди грузинских евреев есть хасиды?"

"Нет", — ответил я.

"Ну, так вот, я из хасидской семьи. Мой отец хасид, и уже дед мой был хасидом. Раввин Давид Баазов, конечно, большой человек, — но мы не можем примириться с тем, что он неоднократно выступал против наставлений нашего рабби *зэхэр цаддик ливраха* (да будет благословенна память праведника; эти слова он произнес на иврите, хотя беседа велась по-русски), и спорил с его посланцами. Но он тоже страдал из-за

еврейской веры (это был намек на арест и ссылку р. Баазова, о которых мы не раз упоминали в наших беседах), и поэтому мы чтим его память и не поминаем прошлого. Но хвалить его — мы не можем. Поэтому я и молчал всегда”.

Пораженный услышанным, я спросил только, к какому хасидскому течению он принадлежит.

”Мы, хабадники”, — ответил он. Однако о главном в отношениях между р. Баазовым и любавичскими хасидами (хабадниками) он не упомянул, а, может быть, и не знал уже. Конфликт между р. Баазовым и любавичскими хасидами в Грузии был частью борьбы между сионистами, одним из вождей которых был р. Баазов, и антиссионистской коалицией, состоявшей из традиционного религиозного руководства грузинского еврейства, из ассимиляторов, которые считали грузинских евреев ”грузинами Моисеева закона”, и приверженцев течения Хабад, которые были в те годы, как известно, крайними противниками сионизма. Как бы то ни было, я понял тогда, что память о конфликте между р. Баазовым и хабадниками Грузии сохраняется в их среде (кстати, мне кажется, что отзвуки этого конфликта слышатся время от времени и сегодня среди грузинских евреев в Израиле).

В середине 60-х годов у меня завязалось знакомство, быстро переросшее в дружбу, с последним из сыновей Давида Баазова — Меером. Мы познакомились с ним весной 1965 года в доме Цви Плоткина, одного из последних подпольных ивритских писателей в СССР, более известного в Израиле под именем Моше Хиог. Цви Плоткин занимал маленькую, убогую и неудобную комнату в густо населенной коммунальной квартире в старом доме неподалеку от станции метро ”Кропоткинская”. Он позвонил мне за несколько дней до того и попросил зайти к нему. ”Я буду тебе чрезвычайно признателен, — добавил он, — если ты соизволишь по благодати твоей (его иврит всегда был немного торжествен) принести мне что-нибудь почитать. Что-нибудь на твое усмотрение. Книгу, что я взял у

тебя, я уже прочел”. (То был сборник рассказов Хаима Хазаза\*). Я взял с собой книгу Яакова Бахата ”Ш.–Й. Агнон, Хаим Хазаз: *размышления при чтении их сочинений*”. Книгу эту я получил от своих друзей в Израиле всего за неделю до того и только накануне вечером закончил ее читать. До сих пор мы всегда встречались с Цви Плоткиным в его комнате наедине, и поэтому я был немного удивлен, увидев там не знакомого мне человека. Вместо обычного ”шалом” я пробормотал ”здравствуйте” и замер в растерянности. Все же человека этого я успел ”сфотографировать” взглядом: лет пятидесяти с розовым полным лицом, седовласый. Он тоже, очевидно, ”фотографировал” меня в эту минуту: его голубые глаза смотрели на меня с ненавязчивым любопытством. Выражение его лица осталось спокойным, как будто он заранее знал и о моем приходе, и обо мне самом.

”Что здесь, в моей комнате, делает русский язык? — улыбнулся Цви Плоткин. — Еврей, говори на иврите! \*\* Познакомьтесь: Михаэль Занд — Меер Баазов!”

Я был ошеломлен:

”Не сын ли вы рабби Давида Баазова и брат Герцеля Баазова?”

— И не только это, — ответил вместо него Цви Плоткин, — мы и сидели вместе -- Прейгерзон, он и я. Проходили по одному делу. (В 1949 г. Цви Плоткин вместе с Меером Баазовым и Григорием-Цви Прейгерзоном был осужден на 10 лет лагерей ”за участие в антисоветской националистической группе”. Нелегально переправленный в Израиль сборник его рассказов на иврите ”Ми-эвэр ми-шам” (”Оттуда”) был опубликован в 1959 г. в Иерусалиме (под псевдонимом Ш.Ш.Рон) и удостоен одной из литературных премий страны. Цви Прейгерзон-Цфони также был одним из

---

\* Хаим Хазаз (1898 – 1973) – выдающийся израильский романист и новеллист.

\*\* Лозунг сторонников превращения иврита в разговорный язык евреев.

подпольных ивритских писателей России и, на мой взгляд, наиболее выдающимся из всех).

Мой новый знакомый спросил в свою очередь с не меньшим удивлением:

“Откуда тебе известно о моем отце и брате, благословенна их память?”

Я вкратце рассказал ему о том, что написано выше. Плоткин принес чай, мы сели к столу.

“Я дал Мееру прочитать сборник Хазаза, — сказал Плоткин. — Полагаю, что ты не имеешь ничего против, тем более, что это уже все равно совершившийся факт”, — добавил он, улыбнувшись.

Из всего сборника, насколько я понял, наиболее сильное впечатление на них произвел рассказ “Проповедь”. Они принялись обсуждать его. Иврит моего нового знакомого не уступал ивриту Цви Плоткина — то была свободная, уверенная, богатая оттенками речь. Заметен был легкий грузинский акцент, но он только придавал прелесть его ивриту. Они спросили и меня, каково мое мнение о рассказе. Я ответил, что в книге, которую я принес сегодня, есть интересные мысли об этом рассказе, и поэтому им стоит, наверно, ознакомиться с ними, и тогда мы сможем обсудить рассказ более основательно. Я вынул из портфеля книгу Бахата и положил ее на стол. Это была немного смешная и в то же время необычайно трогательная картина — две седые головы одновременно склонились над маленькой книжкой. Они внимательно изучили титульный лист, затем оглавление, нашли эссе о “Проповеди” Хазаза и принялись читать его. Прочли страницу, и еще страницу, и еще одну... Они читали вместе. Плоткин читал немного быстрее и к концу каждой страницы поджидал Меера какую-то долю секунды. Они забыли обо мне, о чае, обо всем на свете: всем сердцем своим и всей душой они были сейчас в другом, дорогом им мире — мире ивритской культуры. Я молча смотрел на них. И вдруг я отчетливо увидел, как мы втроем идем по какому-то залитому ярким светом узкому переулку и громко разговари-

ваем на иврите, и наши голоса отдаются гулким эхом от больших белых камней домов по обеим сторонам переулка. Картина эта была такой яркой, такой ошутимой, что я сидел, боясь моргнуть — чтобы она не исчезла. (Был ли это один из агноновских переулков, как я их тогда представлял себе?). Но через минуту я все же вспомнил, что час уже поздний, и сказал шутливо: "Сидели как-то раз рабби Цви и рабби Меер и рабби Михаэль в Москве...\*" "Да, еще немного и наступит время чтения *Шма* перед сном...", — рассмеявшись, продолжил Меер.

Мы вышли вместе. Выяснилось, что мы соседи: наши дома разделяли всего-навсего две останки метро — сущие пустяки, по московским понятиям.

Спустя немного времени нам суждено было снова встретиться, снова неожиданно. Произошло это следующим образом. Жил в Москве поэт по имени Лев Пеньковский. Десятки лет занимался он переводами поэзии народов Востока, в основном, народов Советского Востока, и считался в этой области большим специалистом. Я был знаком с ним, как и почти со всеми, кто зарабатывал себе на жизнь этим уважаемым в России (да и дающим неплохие доходы) ремеслом. Большинство из них не знали ни одного восточного языка и занимались, по существу, не переводом, а версифицированием подстрочников, которые делались для них знатоками восточных языков и литератур. И вот встречается меня однажды Пеньковский в Доме писателей и говорит:

"Михаил Исаакович, хотите, я вас немножко удивлю? Но самую малость, немного? Я перевожу сейчас —

---

\* Парафраза начала 12-го раздела "Пасхальной хаггады": "Сидели как-то раз р. Элизер и р. Иехошуа, и р. Элиазар бен Азария, и р. Акива, и р. Тарфон в Бней-Браке и рассказывали об исходе из Египта всю ту ночь, пока не пришли их ученики и не сказали им: "Господа наши, пришло время утреннего чтения *Шма*".

знаете кого? Иехуду ха-Леви!\* — и заметив, что я действительно удивлен его сообщением, добавил, — ну, я как-никак тоже еврей, и язык знаю еще из дома. Мой отец был ивритским писателем. Итак, я занимаюсь этим уже около полугода в свободное время, в перерывах между переводами по обязанности и для хлеба насущного”.

Через неделю Пеньковский позвонил мне и спросил, не могу ли я урвать часок-другой, чтобы разобрать кое-какие места в стихах Иехуды ха-Леви, которые он затрудняется понять, либо не уверен, что понимает правильно. Мы договорились встретиться.

Я взял с собой ”Полное собрание стихотворений р. Иехуды ха-Леви” под редакцией Исраэля Зморы, первый том ”Ивритской поэзии в Испании и Провансе” Хаима Ширмана и еще несколько книг, которые могли быть полезны для прочтения неясных мест в поэзии р. Иехуды ха-Леви, и поехал к Пеньковскому. Когда я вошел в его квартиру, он указал рукой на Меера Баазова и произнес:

”Знакомьтесь...”

Мы оба только улыбнулись:

”Мы уже знакомы”.

Все втроем мы уселись вокруг письменного стола. Я вынул книги, и Меер принялся раскрывать их одну за другой, листать, задерживаясь на той или иной странице. Он читал шепотом, кивал головой и продолжал листать.

”Сдается мне, — сказал я, немного подтрунивая над ним, — что вы останавливаетесь на том или ином стихотворении, как останавливаются на улице, повстречав друга или давнего доброго знакомого”.

Он улыбнулся — как мне показалось, больше из приличия — и произнес:

---

\* Этот перевод, которому Л. Пеньковский посвятил немало времени и труда, так и не был опубликован в СССР и увидел свет уже после смерти переводчика, в Израиле, в издании ”Библиотека-Алия”.



”Вы правы. Уже долгие годы я не держал в руках стихов Иехуды ха-Леви, вот теперь я вижу, что помню многие из них. Ведь я учил их еще в детстве...”

На этот раз наша беседа велась по-русски.

”Говорите на иврите, — умолял Пеньковский. — Вы ведь не то, что я. Я-то почти забыл язык”.

Однако мы продолжали говорить по-русски, чтобы и Пеньковский мог принять участие в беседе. В русской речи Меера тоже был едва заметный грузинский акцент. То был единственный раз, когда мы говорили с ним между собой по-русски. Уже спустившись в метро, я сказал ему:

”Послушай, мы едем в одном направлении, ведь мы же почти соседи. Я вижу, что у нас имеется общая слабость — рыться в книгах. Особенно, если они написаны на определенном языке”.

”На весьма определенном,” — поправил меня Меер.

”Так, может быть, заскочим ко мне, пороешься немного в книгах на этом языке, ”на древнем языке, на языке ха-Леви”?

”Последние твои слова звучат как строки из хорошего стихотворения. Чье это?”

”Хаима Ленского\*”, — ответил я.

”Это имя я слышал, но не читал ни одного его стихотворения”.

”У меня есть его книга”.

”Я собирался зайти к тебе как-нибудь в другой раз, — сказал Меер, — но раз такое дело, то я действительно зайду к тебе сейчас. Но как только мы придем, я, с твоего позволения, позвоню жене, скажу ей, что задержусь немного”. Я и после замечал, что он очень заботлив по отношению к близким, в особенности по отношению к жене. Как-то, спустя несколько лет, он

---

\* Хаим Ленский (1905–1942?) -- выдающийся ивритский поэт. Погиб в советском лагере принудительного труда. Большая часть его сохранившихся стихов была переправлена нелегальными путями из СССР в Израиль и опубликована уже после его смерти.

сказал мне: "Видишь ли, она столько выстрадала из-за меня, что я стараюсь хотя бы сейчас не доставлять ей неприятностей, не заставляю ее нервничать".

Так и было: как только мы вошли в квартиру, он направился к телефону, позвонил домой и сказал, что находится у друга и вернется немного позже обычного. Затем он подошел к тем полкам моей библиотеки, на которых размещались ивритские книги. (Кажется, моя библиотека была уже тогда самой большой из частных ивритских библиотек в Москве. Из тех, разумеется, о существовании которых мне было известно). Он переводил взгляд с одного корешка на другой. Иногда протягивал руку, доставал книгу, прочитывал титульный лист и возвращал книгу на место. Я достал тем временем "По ту сторону реки Лета" Хаима Ленского и положил ее на письменный стол:

"Вот та книга, о которой мы говорили в метро".

Он присел к столу и не поднялся, пока не дочитал книгу до конца. На мои предложения сделать перерыв на несколько минут, чтобы перекусить или просто выпить чаю, он отвечал лишь молчаливым покачиванием головы. Предисловие и раздел воспоминаний он только пролистал: "Нет времени, прочитаю потом". Уже собираясь уходить, он спросил: "И ты не боишься держать дома такие книги?"

Нас познакомил Цви Плоткин, они были осуждены по одному делу и вместе сидели, — этого было достаточно, чтобы быть с ним откровенным.

"Видишь ли, — сказал я ему, — если у меня будут делать обыск, то я пропал все равно. Что же касается этой книги, то официально она абсолютно "кашерна". Посмотри, — я показал ему треугольную печать на титульном листе, знак того, что книга проверена цензором и найдена им "открытой", — этот невежда-цензор пропустил на этот раз книгу, не прочитав в ней даже пары строк".

Тогда я еще получал большую часть ивритских книг, высланных мне из Израиля и из стран Запада, на адрес Института Востоковедения Академии

Наук СССР, где работал. Книги, поступающие на адрес Института, считаются официальными почтовыми отправлениями, и цензура ставит на них свой знак. Каждая "открытая" книга штемпелевалась треугольной печатью, и я получал ее как обычное почтовое отправление. "Закрытые" же, т.е. запрещенные цензурой, книги штемпелевались шестиугольной печатью, и, хотя тоже считались моей собственностью, но передавались цензурой в зал "закрытых" книг Института, и только в этом зале я мог ими пользоваться. К марту 1971 года, когда я был уволен из Института, в этом зале набралось уже на три больших полки принадлежавших мне "закрытых" книг. Большая часть этих книг была на иврите.

После того первого визита Меера почти не проходило недели, чтобы мы не встречались. Как правило, он приходил ко мне; он беседовал со мной на своем сочном прекрасном иврите, несколько перегруженном, как мне тогда казалось, цитатами из Библии и из классической ивритской поэзии, большей частью из любимого им Иехуды ха-Леви и из Бялика, и читал. Каждый раз он брал с собой какую-нибудь книгу на иврите и возвращал ее в свой следующий приход. Мы говорили о многом. Но все же главными темами были две — иврит и ивритская литература и Израиль. Его познания о географии Эрец-Исраэль были потрясающими. Мне кажется, он знал все ее горы, все долины, все вадии — не было ничего, чего бы он не знал. Мы оба мечтали жить в Израиле, но в первые годы нашего знакомства то была мечта, у которой, казалось, не было никаких шансов осуществиться когда-либо.

Я посещал его реже. Библиотека его состояла, в основном, из русских книг по его специальности — какая-то сложная инженерная профессия, связанная с электроосвещением дорог. Книг на иврите было мало, большей частью — изданные в Восточной Европе в дореволюционные и первые послереволюционные годы. Было несколько грузинских книг. Как-то он показал мне книгу на грузинском языке о своем бра-

те, о Герцеле, написанную, насколько мне помнится, Георгием Цициашвили и опубликованную в Тбилиси в 1964 году, и сухо заметил:

”Сначала они убили его, а теперь велят опубликовать о нем книги и статьи”.

”Они” — было в его устах постоянным определением советской власти. О ней и вообще о том, что происходило в Советском Союзе (кроме еврейских аспектов) он не любил говорить — ни одобрительно, разумеется, ни отрицательно. Он не скрывал, конечно, от меня своей антипатии к властям, но эта тема находилась как бы по ту сторону его интересов. Меер жил одновременно в двух мирах: физическое его существование протекало в городе, именуемом Москвой, но душа его обитала в царстве иврита. У этого царства были географические границы — границы Эрец-Исраэль — и границы более широкие, простирающиеся не на поверхности земли, а во времени — границы истории нашего народа и его культуры.

Я заметил, что он был весьма разборчив и осторожен в выборе друзей и знакомых. Но после Шестидневной войны круг его знакомых значительно расширился. Иногда я встречал у него ”еврейских” евреев (московские и вообще советские евреи делились тогда для меня на ”еврейских”, то есть тех, кто интересовался своим еврейством, и на ”нееврейских” — которые им не интересовались и зачастую старались скрыть свое еврейское происхождение и избавиться от памяти о нем). Иногда я встречал его и в компаниях национально настроенной молодежи. Многие тянулись к нему из-за того, что он так разительно отличался от них: они не знали ни языка, ни культуры, ни истории своего народа, для него же его еврейство было чем-то естественным, само собой разумеющимся.

Смерть одного за другим двух его близких друзей (оба они, безусловно, были для него более близкими друзьями, чем я, несмотря на то, что вот уже несколько лет мы с ним были столь близки и дружны и встречались столь часто) — Цви Прейгерзона в 1968 го-

ду и Цви Плоткина в 1969 году — была для него тяжелейшим ударом. После смерти Прейгерзона я впервые видел его плачущим. На похоронах Плоткина глаза его тоже были красны от слез.

В те годы я уже был "трефным" в глазах властей из-за моего участия в демократическом движении. Мой телефон прослушивался, и иногда в трубке раздавались посторонние голоса — вероятно, чтобы запугать меня. Письма, которые я отправлял внутри Советского Союза, открывались, просматривались и снова заклеивались с нарочитой неряшливостью — чтобы припугнуть тех, с кем я переписывался. (Разумеется, вся моя переписка с границей тоже просматривалась, но такой перлюстрации подвергалась и подвергается переписка всех граждан СССР с границей). Некоторые из тех, кто еще недавно был среди постоянных посетителей моего дома, прервали со мной всякие контакты. (Один из них числится сейчас в интеллектуальных лидерах "новой русской эмиграции" на Западе, в большинстве своем состоящей, как известно, из евреев). Меер Баазов продолжал приходить ко мне как и прежде — примерно раз в неделю. Он не скрывал того, что не одобряет моего участия в движении. "Что тебе, *иври\**, до всего этого?" — неоднократно говорил он мне. Я старался объяснить ему свою позицию, но он оставался при своем мнении.

В конце 1969 года я перенес сложную и тяжелую операцию, после которой пролежал еще два месяца — сначала в той же больнице, где меня оперировали, а затем в специальном курортологическом институте. Меер навещал меня раз в две недели. Во время одного из посещений он извинился, что не может приходить чаще. Причины он не объяснил. Недели через две после моего возвращения домой, в январе 1970 года, мне позвонил сын Меера и сказал, что отец внезапно скон-

---

\* Иври — здесь: еврей, реализующий себя интеллектуально в иврите и в ивритской культуре.

чался от инфаркта. Помолчал секунду, а потом спросил, не могу ли я научить его читать *кадиш*. Я поспешил к ним. Похороны Меера были отложены до приезда в Москву его сестер. Только тогда я познакомился с ними. К *шлошим*, тридцатому дню после смерти Меера, я отправил им письмо. Чтобы оно не попало в руки КГБ, в нижней части конверта, там, где на советских конвертах положено писать адрес отправителя, — я написал вымышленный адрес. Письмо это дошло и было прочитано вслух и полностью при большом стечении народа — перед всеми, кто пришел отдать Мееру последний долг. После моего приезда в Израиль еще на протяжении нескольких лет многие бывшие тбилисцы, услышав мое имя, спрашивали: "Не тот ли вы Занд, что написал письмо, которое читалось в Тбилиси в день *шлошим* Меера Баазова?"

Мне кажется, я не смогу лучше передать свои чувства, чем сделал это тогда в том письме. Поэтому позволю себе привести здесь его полностью :

Москва, 6—7/II 1970 г.

Дорогие Фаина Давидовна и Полина Давидовна!

Надеюсь, это письмо уже будет в вашем доме, когда к вам придут родные, друзья и знакомые, чтобы по обычаю нашего народа отметить *шлошим* — тридцать дней со дня смерти вашего брата и моего друга Меера Баазова, *зихроно ливраха* — да будет благословенна его память.

Десять мужчин — *миньян* — нужно для того, чтобы можно было отметить *шлошим*. Я уверен, что их будет гораздо больше. Да письмо и не может заменить человека. И все же пусть это мое письмо будет знаком моего незримого присутствия в вашем доме в день скорби по моему другу.

Я мог бы сейчас предаться воспоминаниям, рассказать вам (и в который раз самому себе), как впервые встретился с ним у нашего общего друга, ныне, увы, тоже покойного, как быстро сблизились мы, несмотря на разницу в годах... Но для воспоминаний час не пришел: горечь утраты еще слишком свежа, да и не вместить всех воспоминаний, и даже тех, что представляются самыми существенными.

Поэтому я хотел бы сказать в этом письме лишь немного, лишь несколько слов о том, что сложилось давно и незыблемо, о том, каким запечатлелся в моем уме и моем сердце образ

Меера Баазова, в чем я вижу его неповторимость и, если хотите, его символичность.

Он был талантливым инженером. Он показывал мне свои печатные работы в той специфической, внушающей мне почтение, но не понятной для меня области, в которой он работал. Но как бы ни были ценны его работы в этой области, думаю, не обижу его память, если скажу, что не в его профессиональной одаренности вижу я его неповторимость.

Он несомненно обладал такими добрыми человеческими качествами, как скромность, отзывчивость, любовь к семье, привязанность к друзьям, но разве мало людей, обладающих этими добрыми человеческими качествами?

Один еврейский законоучитель и поэт, живший в средние века, имел почетное прозвище Меор ха-гола. Этот титул дали ему не власть имущие той страны, где он жил. Так назвал его народ, а на языке нашего народа Меор ха-гола означает светоч диаспоры, светоч для народа, жившего вне своей страны, в странах рассеяния.

Ваш отец Давид Баазов, ставший уже легендой, дал этому из трех своих сыновей имя Меер, что означает озаряющий, светящий, и Меер Баазов действительно был светящим, озаряющим путь.

В ночи всеобщего национального упадка, забвения своего языка, своей культуры, во тьме неведения своего "я", которая стала во многом, очень во многом уделом нашего народа в этой стране, Меер Баазов действительно был Меор ха-гола, светочем изгнания. И дело здесь не в том, что он превосходно знал язык нашего народа, что он, как никто, может быть, сейчас в этой стране, знал и великую средневековую поэзию на этом языке и блестящую нашу поэзию нового времени: превосходно можно знать и чужое – мало ли блестящих знатоков, к примеру, древнеегипетского языка, или средневековой литературы Ирана, или английской культуры нового времени?.. Иврит был для Меера Баазова родным языком его народа и, следовательно, его родным языком, еврейская культура была для него родной культурой его народа и, следовательно, его родной культурой.

Отсюда, мне кажется, отсутствие у него той весьма существенной психологической особенности диаспорного еврея, которая зовется комплексом неполноценности. Никто не может быть сыном сразу всего рода человеческого; человечество состоит из народов, и только будучи сыном своего народа, можно быть сыном всего человечества. Как часто еврей, не знающий ни языка своего народа, ни своей еврейской культуры, терзается невозможностью из-за своей ассимилированности полностью идентифицировать себя со своим народом. Отсюда осознание своей неполноценности

как сына своего народа – первый компонент комплекса неполноценности диаспорного еврея.

И в то же время ассимилированный еврей неизбежно помнит, а если он забывает, то ему напоминают, что он не принадлежит к тому народу, на языке которого он думает и в традициях культуры которого он взращен. Отсюда осознание неадекватности своего национального самосознания своему лингвистическому и культурному существованию – второй компонент комплекса неполноценности диаспорного еврея.

Я назвал здесь лишь эти два компонента, которые мне кажутся одними из наиболее существенных, ибо, по моему мнению, Меер Баазов был абсолютно свободен от них.

Выросший в традициях культуры своего народа, виртуозно и пластично владевший языком своего народа, он, естественно, только со своим народом и мог себя идентифицировать – идентифицировать без тех оговорок, которые неизбежно возникают у еврея ассимилированного. Его национальное самосознание находило свое полное и адекватное выражение в той культуре, в русле которой он жил до самого последнего дня своего и в развитии которой по мере сил и возможностей своих участвовал, – в культуре своего народа, на языке этого народа.

Именно поэтому, мне кажется, он был столь гармоничен духовно: постоянную ясность духа, ощущение полноты бытия – все то, что не могли истребить в нем ни годы тюрем и лагерей, ни трагедия всего дома Баазовых, о которой еще будут написаны книги, – сообщала ему его целостность, не нарушаемая комплексом неполноценности, столь травмирующим и коверкающим душу диаспорного еврея. Я покривил бы, однако, душой, если бы сказал, что будучи в целом свободен от комплекса неполноценности, Меер Баазов был свободен от такого компонента этого комплекса, как мучительное ощущение себя человеком без земли, человеком на чужбине.

Он мертв, и ему не угрожают уже гонения и преследования, которыми и так его не обделила его еврейская судьба, и поэтому я могу сказать, не боясь причинить вреда моему другу: он отчетливо понимал, что для еврея, который мыслит себя евреем, есть лишь один способ освободиться от этого самого тягостного компонента еврейского комплекса неполноценности и вместе с ним от всего комплекса неполноценности – вернуться на землю предков.

И хотя я обещал воздержаться от воспоминаний, не могу не вспомнить, как он сказал мне однажды: "Я не был там, в Стране, ни разу, но я знаю всю ее на ощупь – каждую травинку в ней, каждый комочек земли. Я мог бы пройти по ней с закрытыми глазами и ни разу не сбиться с пути".

Тоска по той стране, по стране нашего народа, постоянно



жила в нем. И недаром его любимым поэтом был Иехуда ха-Леви, и любимым поэтическим циклом любимого поэта – цикл "Ширей-Цион", и любимым стихотворением этого цикла – знаменитая элегия "О Сион, разве не шлешь ты благопожелания сынам своим, томящимся в плену на чужбине". И не раз повторял он строки из этого стихотворения:

Паду ниц на землю твою, я, любящий  
Страстно камни твои и прах твой.

Он пал на другую землю.

Пал, чтобы больше не встать. И его зарыли в эту холодную, заснеженную, промерзшую насквозь землю, которую пришлось долбить молотами, чтобы она приняла его в свое чрево.

Но десятки тех, кто мечтает о той земле, тех, для кого он был Меор ха-гола, шли за его гробом. Не лозунгами, не призывами, а всею жизнью своей показал он нам, что значит быть настоящим сыном своего народа.

Шалом – мир вам!

Скорбящий вместе с вами, искренне ваш

**М. Занд.**

*Текст послесловия перевел с иврита П. Гиль. Письмо, написанное в оригинале по-русски, было опубликовано в журнале "Менора" (№16, 1978) и перепечатывается нами с любезного разрешения редакции.*

עיריית חיפה  
מסדנת תרבות הפנאי  
מרכז תרבות לעולים  
בית ארץ-ישראל - ספריה  
מס. מלאי.....

## **КНИГИ СЕРИИ "БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ"**

(заказывать по прилагаемому купону)

- 1–2. Леон Юрис. ЭКСОДУС
3. Д-р А. И. Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арие (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е. Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А. И. Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Арон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У. Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И. Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Алон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917–1967)
25. Ш. Й. Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести, главы из романов
26. Элиэзер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Товия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 2
30. А. Итай и М. Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С. Г. Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. Р. Губер. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
35. Дж. и Д. Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И. Башевис-Зингер. РАБ
37. Р. Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ

39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ  
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
53. Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
54. МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в кибуцах
55. Джон Орбах. РИКША
56. Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ  
ЗА СВОЮ СВОБОДУ
57. Исаак Бабель. ДЕТСТВО и другие рассказы
58. Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1
59. Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2
60. Андрэ Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
61. Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ  
ПЛАНЕТЕ
62. Владимир (Зеев) Жаботинский. ИЗБРАННЫЕ  
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
63. Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
64. Макс И. Даймонт. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ
65. Сол Беллоу. ПЛАНЕТА М-РА СЭММЛЕРА
66. СТАТЬИ ОБ ИУДАИЗМЕ. Сборник
67. А. Суцкевер. ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ
68. АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Сборник.
69. СКОПУС. Антология поэзии и прозы
70. Ури Дан. ЭНТЕББЕ
71. Моше Шамир. СВОИМИ РУКАМИ
72. Л. Коллинз и Д. Лапьер. О, ИЕРУСАЛИМ!
73. Моше Новомейский. ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО МОРЯ
74. Моше Гесс. РИМ И ИЕРУСАЛИМ
75. Феликс Кандель. ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО

לכבוד

הנהלת "ספרית-עליה"

ת.ד. 21650

תל-אביב

טל. 219271

1. Стоимость одной книги серии "Библиотека Алия" – 90 изр. лир.
2. Стоимость 12 книг – 720 изр. лир (скидка (около 33%).

Прошу выслать мне 12 из опубликованных книг . . . . .  
(указать номера книг)

Прилагаю чек на сумму 720 изр. лир.

Прошу выслать мне 6 из опубликованных книг . . . . .  
(указать номера книг)

Прилагаю чек на сумму 360 изр. лир.

Мой адрес: . . . . .

Имя и фамилия . . . . .

Подпись . . . . .

## ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ:

*Эли Визель.* **ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ**

Пер. с французского.

Тема книги Э. Визеля – отношения между человеком и Богом. Герой Визеля – еврей, а время действия романа – современность. Неразрешимая загадка Катастрофы заставляет заняться поиском новых ответов на извечные вопросы бытия.

*Авраам Шлионский.* **ГОРЫ ГИЛЬБОА.** Сборник стихов. Пер. с иврита.

А. Шлионский (1900–1973) – выдающийся израильский поэт, один из зачинателей новой литературы на иврите, блестящий переводчик на иврит произведений Пушкина и других классиков мировой литературы. Сборник "Горы Гильбоа" включает стихи разных лет.

*Иехуда Бурла.* **ПРИКЛЮЧЕНИЯ АКАВЬИ.**

Пер. с иврита.

Автор (1886–1969) – израильский романист, один из первых современных израильских писателей сефардского происхождения. Тема романа – трагедия любви. Простодушный и романтический юноша, первобытный, как природа, наделенный невероятной физической силой и неким даром пророчества, встречается в горах Анатолии девушку-армянку и влюбляется в нее. Она покидает его. Потрясенный, он отправляется в Эрец-Исраэль, где пытается постичь смысл человеческого существования.